Один поэт — одно стихотворение

Русская лирическая поэзия от начала до конца[1] *(от Михайлы Ломоносова до Васи Бородина)*

Для проекта «Русская Европа» составил Илья Франк, составление закончено 1 марта 2025 года.

(Последнее обновление файла — 4 ноября 2026.)

На сайте russianeurope.ru вы найдете большие сборники русской поэзии четырех веков

Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф,

когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же[2]

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен,
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен;
Что видишь, всё твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.

Михайло Ломоносов (1711—1765)

[1] Не принимайте близко к сердцу этот шуточный подзаголовок.
[2] Переложение анакреонтического стихотворения «К цикаде». Ломоносов добавил последний, заключительный стих.

На суету человека

Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Всё, что ни льстит.[3]
Счастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава —
Всё только сон.
Как ударяет
Колокол час,
Он повторяет
Звоном сей глас:
«Смертный, будь ниже
В жизни ты сей;
Стал ты поближе
К смерти своей!»

1759

Александр Сумароков (1717—1777)

Стансы

[3] *Льстит* — услаждает.

Только явя́тся
Солнца красы,
Всем одеваться
Прй́дут часы.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

К должности водит
Всякого честь;
Полдень приходит —
Надобно есть.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Там разговоры
Нас веселят;
Вести и ссоры
Время делят.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Ложь и обманы
Сеет злодей;
Рвут, как тираны,
Люди людей.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Строги уставы
Мучат нас век:
Денег и славы
Ждет человек.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Тот богатится,
Наг тот бредет;
Тот веселится,
Слезы тот льет.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Счастье находим,
Счастье губи́м.
Чем жизнь проводим?
Ходим да спим.

Боже мой, Боже!
То же да то же.

Время, о! время,
Что ты? Мечта.
Век наш есть бремя,

Всё суета.

Боже мой, Боже!
Всякий день то же.

Сколько ни видим
В мире сует,
Не ненавидим —
Любим мы свет.

Боже, о! Боже,
Любим и то же.

1761

Михаил Херасков (1733—1807)

Весна

Дохнула нежная весна,
И вся природа пробудилась,
Как будто ото сна,
И вновь переродилась;
Растаяли снега,
Открылися луга,
Древа зазеленели,
Порхая, птички в них запели.
Рек быстрые струи,
Льдом кои тяготились,
Прозрачны покатились,

В пути, журча, свои.
Зефиры веют,[4]
От плодотворной теплоты
Одушевляются цветы,
Растения свежеют.
То с длинной шеей, гость из дальних к нам земель,
Летит курлюча журавель;
То гусь под облаком гогочет,
Большого стада вождь: в пролете удалом
Он, правя вниз крылом,
К нам, кажется, на пруд спуститься хочет.
Напрягши жавронок гортань,
Весне прекрасной платит дань:
То радости в избытке
Взвивается, треля, он к туче, как по нитке;
То, вдруг остановясь,
Там крылышками машет;
Играя и резвясь,
Поет и пляшет;
И, голос вдруг запря, оттуда кувырком
Вниз падает, как ком.
Другой певец прешибкой,
Душа вели́ка, малый рост,
Скача по ветви гибкой,
Корючит кверху хвост;
Жарок,
Ярок,
Удал соловей,
Всех даром веселит музы́кою своей.

[4] *Зефир* — (у древних греков) западный ветер; в поэзии: легкий теплый ветер.

Сперва он цвикает, чуть слышен, понемногу,
И стелет голосу из горлышка дорогу:
Как грянет, полетят и ядра вдруг и дробь;
То тоны все мешает,
И рощи оглушает,
То ставит каждый стих особь;
Творенье малосонно,
Всю часто ночь насквозь кричит безугомонно,
Один, в густой тени под солнцем иль луной
Поет, сразиться рад лир лучших со струной;
Одна — не диво ли? — и крошечная глотка,
Свирель, труба, тимпан, трещотка;
То гаркнет, то прервет;
Визги,
Мызги,
Стуки,
Звуки
Издает;
Захлебывается, в клуб голос собирает,
Частит его, рядит,
Затихнет, будто сил щадит;
Вдруг длинну песню выстилает
Из горлышка, как холст;
Тут звонок
И тонок,
Там толст;
Томен,
Огромен,
Жалок, жесток,
Си́лен,

Умилен,
Низок, высок;
И столь искусные, не с ветру песни взяты,
Есть в каждой мысль строке;
Он страсти выпевает
И душу проливает,
Кому-то тщится он быть слышан вдалеке.

Василий Петров (1736—1799)

На смерть князя Мещерского[5]

Глагол времен! металла звон![6]
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых кохтей,
Никая тварь не убегает;
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,

[5] Стихотворение было вызвано известием о смерти одного из близких знакомых Державина, князя Александра Ивановича Мещерского (известного богача, любившего давать пышные пиры), и адресовано к общему их приятелю, Степану Васильевичу Перфильеву (1734—1793) — генерал-майору, одному из воспитателей великого князя, будущего императора Павла I.
[6] Т. е. бой часов, олицетворяющий неизбежный ход времени.

Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости всё смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает;
Приходит смерть к нему, как тать,[7]
И жизнь внезапу похищает.
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее;
Ее и громы не быстрее
Слетают к гордым вышинам.

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерской! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»

[7] *Тать* — вор, разбойник.

Утехи, радость и любовь
Где купно с здравием блистали,
У всех там цепенеет кровь
И дух мятется от печали.
Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались лики,[8]
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышéнный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.

Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость с бедностью совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаóса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век.

Как сон, как сладкая мечта,

[8] *Лик (лики)* — здесь имеет значение: «хор певцов».

Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум.

Но так и мужество пройдет
И вместе к славе с ним стремленье;
Богатств стяжание минет,
И в сердце всех страстей волненье
Прейдет, прейдет в чреду свою.
Подите счастьи прочь возможны,
Вы все пременны здесь и ложны:
Я в дверях вечности стою.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно, —
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

1779

Гаврила Державин (1743—1816)

Ночь

К приятной тишине склонилась мысль моя,
Медлительней текут мгновенья бытия.
Умолкли голоса, и свет, покрытый тьмою,
Зовет живущих всех ко сладкому покою.
Прохлада, что из недр пространныя земли
Восходит вверх, стелясь, и видима в дали
Туманов у ручьев и близ кудрявой рощи
Виется в воздухе за колесницей нощи,
Касается до жил и освежает кровь!
Уединение, молчанье и любовь
Владычеством своим объемлют тихи сени,
И помавают им согласны с ними тени.
Воображение, полет свой отложив,
Мечтает тихость сцен, со зноем опочив.
Так солнце, утомясь, пред западом блистает,
Пускает кроткий луч и блеск свой отметает.
Ах! чтоб вечерних зреть пришествие теней,
Что может лучше быть обширности полей?
Приятно мне уйти из кровов позлащенных
В пространство тихое лесов невозмущенных,
Оставив пышный град, где честолюбье бдит,
Где скользкий счастья путь, где ров цветами скрыт.
Здесь буду странствовать в кустарниках цветущих
И слушать соловьев, в полночный час поющих;
Или облокочусь на мшистый камень сей,
Что частью в землю врос и частию над ней.
Мне сей цветущий дерн свое представит ложе.
Журчанье ручейка, бесперестанно то же,

Однообразием своим приманит сон.
Стопами тихими ко мне приидет он
И распростретсвои над утомленным крилы,
Живитель естества, лиющий в чувства силы.
Не сходят ли уже с сих тонких облаков
Обманчивы мечты и между резвых снов
Надежды и любви, невинности подруги?

Уже смыкаются зениц усталых круги.
Носися с плавностью, стыдливая луна:
Я преселяюся во темну область сна.
Уже язык тяжел и косен становится.
Еще кидаю взор — и всё бежит и тьмится.

1776, 1785

Михаил Муравьев (1757—1807)

* * *[9]

…….

Притворства и в стихах казать я не хочу:
Поется мне — пою; невесело — молчу
И слушаю других иль, взявши посох в руку,
В полях и по горам рассеиваю скуку;
Разнообразности природы там дивлюсь
И сколки слабые с нее снимать учусь.
Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады;

[9] Из: «Послание к Н. М. Карамзину».

Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит.
А временем идя — куда, и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу:
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
Какой приятный шум! какая пестрота!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота;
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы;
А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу, играючи, берут,
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь!
Уже недолго мне и на цветы смотреть:
Уже я с каждым днем чего-нибудь лишаюсь.
Иду под тень кустов — ступлю и возвращаюсь
С поникшей головой: там нет уж соловья!
Сегодня у пруда остановился я:
И ласточки над ним кружилися, вилися,
И серы облака по небесам неслися.
Ах! скоро, милый друг, неистовый Эол[10]
Помчится на крылах шумящих с гор на дол,
Завоет, закрутит, кусты к земле приклонит,
Свинцовые валы на озеро нагонит,

[10] *Эол* — бог ветра, повелитель ветров, выпускающий ветра из своих мехов (греч. миф.).

В пещерах заревет и засвистит в дуплах
И с воздухом смесит и листвия и прах:
День, два — и, может быть, цветочка не застану;
День, два — и, может быть... как знать?.. и сам увяну!

1795

Иван Дмитриев (1760—1837)

* * *[11]

Среди долины ровныя
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут[12] на часах!

Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?

[11] Относительно создания этой песни М. А. Дмитриев вспоминал: «Песня Мерзлякова “Среди долины ровныя...” написана была в доме Вельяминовых-Зерновых. Он разговорился о своем одиночестве, говорил с грустью, взял мел и на открытом ломберном столе написал почти половину этой песни. Потом ему предложили перо и бумагу: он переписал написанное и кончил тут же всю песню» (М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти). Дом Вельяминовых-Зерновых, о котором говорит Дмитриев, — подмосковное поместье Жодочи, куда Мерзляков ездил в период увлечения Анисьей Федоровной Вельяминовой-Зерновой (1788—1876), впоследствии в замужестве Кологривовой.
[12] *Рекрут* — (в России с 1705 по 1874 гг.) солдат новобранец.

Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не вьются вкруг него.

Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!

Есть много сребра, золота —
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей —
Но с кем их разделить?

Встречаюсь ли с знакомыми —
Поклон, да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими —
Поклон — да пара слов.

Одних я сам пугаюся,
Другой бежит меня.
Все други, все приятели
До черного лишь дня!

Где ж сердцем отдохнуть могу,
Когда гроза взойдет?
Друг нежный спит в сырой земле,
На помощь не придет!

Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!

Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь!

Возьмите же всё золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

1810

Алексей Мерзляков (1778—1830)

Не наяву и не во сне

(Фантазия)

Князю П. Г. Гагарину[13]

And song that said a thousand things.[14]

Откинув думой жизнь земную,
Смотрю я робко в темну даль;

[13] *Гагарин* Павел Гаврилович (1777—1850) — генерал-адъютант и дипломат. В молодости печатал стихи в «Вестнике Европы», издававшемся Жуковским.
[14] Как много было в песне той! (Перевод В. А. Жуковского.) Эпиграф взят из 10-й строфы поэмы Байрона «Шильонский узник».

Не знаю сам, о чем тоскую,
Не знаю сам, чего мне жаль.

Волной, меж камнями дробимой,
Лучом серебряной луны,
Зарею, песнию любимой
Внезапно чувства смущены.

Надежда, страх, воспоминанья
Теснятся тихо вкруг меня;
Души невольного мечтанья
В словах мне выразить нельзя.

Какой-то мрачностью унылой
Темнеет ясность прежних дней;
Манит, мелькает призрак милой,
Пленяя взор во тме ночей.

И мнится мне: я слышу пенье
Из-под туманных облаков...
И тайное мое волненье
Лелеять сердцем я готов.

1832

Иван Козлов (1779—1840)

К зиме

В ноябре 1808 года

Приди к нам, матушка зима,
И приведи с собой морозы!
Не столько их нам страшны грозы,
Сколь сырость, нерешимость, тьма,
В которых гнéздится чума!
А от твоих лобзаний розы
У нас взыграют на щеках,
Из глаз жемчужны выжмешь слезы,
Положишь иней на висках,
И мы — как в сребряных венках.

Ах! долго ли нам грязнуть в тине
И мороситься под дождем?
Ноябрь у нас уж в половине:
Тебя теперь мы, зиму, ждем,
Приди, сбери в морщины строги
Умяклое лино земли
И на святой Руси дороги
Пушистым снегом устели,
Чтоб наши радовались ноги.

Неву и Бельта воды бурны,
В которых нынешней порой
Не виден неба свод лазурный
И Феб на кои взгляд понурный[15]
Бросает, лучше ты покрой
Своей алмазною корой!

[15] *Феб* — Аполлон; буквально: светлый. Аполлон — бог солнечного света и бог поэзии (греч. миф.). Здесь имеется в виду солнце.

И дай нам странствовать по суху
Над пенной хлябию реки;
Подставив под ноги коньки,
Крылатому подобно духу,
Не уступать в бегу коням,
Катиться легким вслед саням,

Саням, усаженным четами
Младых красавиц в соболях,
Под пурпуро́выми фатами.
Они на новых сих полях
Явятся новыми цветами,
Чтоб царство украшать зимы,
И с ними не озябнем мы!

Дохни, Борей, на нас сурово
И влажный осуши эфир, —
С тобою русакам здорово.
А ты, обманчивый Зефир,[16]
Что веешь к нам с Варяжска моря,[17]
Ты нам теперь причиной горя:
Ведь дождь и слякоть от тебя;
Поди ж и дуй своим поэтам,
Которы, и зимой и летом
Тебе похвальну песнь трубя,
Бесстыдно лгут пред целым светом.

[16] *Борей* — (греч. миф.) сильный северный ветер. *Зефир* — приятный и мягкий ветер. *Эфир* — олицетворение верхнего, лучезарного слоя воздуха, считавшегося местопребыванием Зевса. Здесь — синоним воздуха.
[17] *Бельт* или *Варяжское море* — Балтийское море.

Теплу и стуже время есть.
И то нам и другое в честь.
Не итальянцы мы, не греки,
Которым наших зим не снесть,
У коих не живут и снеги.
Они пусть хвалят злак лугов,
Журчащих ручейков прохладу,
И жизнь невинных пастухов,
И собирание винограду:
Не чужды нам забавы их,
Но знают ли они отраду
Трескучих зимушек лихих?

Как под снегами зреет озимь,
Так внутрення в нас жизнь кипит
И члены ко трудам крепит.
Доколи бодрость в нас не спит,
Мы рук и ног не отморозим.
И русских удалых сынов
Так не обидела природа,
Чтоб им и помощь и покров
Не дать от мразов, хладов норда;
В лесах надолго станет дров,
И есть полезны там соседи:
Лисицы, волки и медведи —
Для теплых шуб обильный лов!
С куниц и с соболей пужливых
Драгие мехи совлекут,
Дубравы целые ссекут
Для топли изб гостелюбивых.

И если не ущедрил Вакх
Студеный край наш виноградом,
Довольны русским мы Усладом[18]
При добрых брагах и медах.

Конец 1807 или начало 1808

Александр Востоков (1781—1864)

Лалла Рук[19]

.....

Ах! не с нами обитает
Гений чистый красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья,

[18] Славянский бог пиршеств. (Примечание Востокова.)
[19] Поводом для написания этого стихотворения явился праздник, данный в Берлине 15 января 1821 г. прусским королем Фридрихом, по случаю приезда его дочери — великой княгини Александры Федоровны и зятя — будущего императора Николая I. На празднике были разыграны живые картины на сюжеты, заимствованные из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Роль индийской принцессы Лалла Рук исполняла Александра Федоровна. Жуковский, присутствовавший на празднике, написал это стихотворение, где образ Лалла Рук превратился в символ поэзии, поэтического вдохновения.

Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;

И во всем, что *здесь* прекрасно,
Что наш мир животворит,
Убедительно и ясно
Он с душою говорит;
А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

1821

Василий Жуковский (1783—1852)

К NN

Когда из глубины души моей угрюмой,
Где грусть одна живет в тоске немой,
Проступит мрачная на бледный образ мой
И осенит чело мне черной думой, —
На сумрачный ты вид мой не ропщи:
Мое страдание свое жилище знает;
Оно сойдет опять во глубину души,
Где, нераздельное, безмолвно обитает.

1819

Николай Гнедич (1784—1833)

* * *

О, кто — скажи ты мне — кто ты,
Виновница моей мучительной мечты!
Скажи мне, кто же ты, — мой ангел ли хранитель
Иль злобный гений-разрушитель
Всех радостей моих? — Не знаю — но я твой!
Ты смяла на главе венок мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы,
И грезы гордые, и думы величавы.
Ах! чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и грозы, и волненья,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть,
Глядеть без устали, как на звезду спасенья!
Уходишь ты — и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив — я вижу свет —
И возвращается душа, и сердце бьется!..

1834

Денис Давыдов (1784—1839)

Сон русского на чужбине

Отечества и дым нам сладок и приятен!
Державин

Свеча, чуть теплясь, догорала,
Камин, дымяся, погасал;
Мечта мне что-то напевала,
И сон меня околдовал...
Уснул — и вижу я долины
В наряде праздничном весны
И деревенские картины
Заветной *русской* стороны!..
Играет рог, звенят цевницы,[20]
И гонят парни и девицы
Свои стада на влажный луг.
Уж веял, веял теплый дух
Весенней жизни и свободы
От долгой и крутой зимы.
И рвутся из своей тюрьмы
И хлещут с гор кипучи воды.
Пловцов брадатых на стругах
Несется с гулом отклик долгой;
И широко гуляет Волга
В заповедны́х своих лугах...
Поляны муравы одели,
И, вместо пальм и пышных роз,
Густые молодеют ели,
И льется запах от берез!..
И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,

[20] *Цевница* — пастушеская свирель.

И колокольчик — дар Валдая —
Гудит, качаясь под дугой...
Младой ямщик бежит с полночи:
Ему сгрустнулося в тиши,
И он запел про *ясны очи*,
Про очи девицы-души:
«Ах, очи, очи голубые!
Вы иссушили молодца!
Зачем, о люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?[21]
Теперь я горький сиротина!»
И вдруг махнул по всем по трем...
Но я расстался с милым сном,
И чужеземная картина
Сияла пышно предо мной.
Немецкий город... всё красиво,
Но я в раздумье молчаливо
Вздохнул по стороне родной...

1825

Федор Глинка (1786—1880)

Мой гений[22]

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной,

[21] По преданию, когда в 1478 году царь Иван III приказал увезти мятежный новгородский вечевой колокол в Москву, при переезде через Валдайские горы он сорвался с повозки и разбился. Из его осколков якобы и родились знаменитые валдайские ямщицкие колокольчики. На самом же деле ямщицкие (почтовые) колокольчиков в России появились в последней четверти XVIII века.
[22] *Гений* — дух; дух-хранитель.

И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

1815

Константин Батюшков (1787—1855)

Сонет

Кто принял в грудь свою язвительные стрелы
Неблагодарности, измены, клеветы,
Но не утратил сам врожденной чистоты
И образы богов сквозь пламя вынес целы;

Кто те́рновым путем идя в труде, как пчелы,
Сбирает воск и мед, где встретятся цветы, —
Тому лишь шаг — и он достигнул высоты,
Где добродетели положены пределы.

Как лебедь восстает белее из воды,
Как чище золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды:

Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила;
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды,
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила.

1835

Павел Катенин (1792—1853)

Родина

Есть любимый сердца край;
Память с ним не разлучится:
Бездны моря преплывай —
Он везде невольно снится.

Помнишь хижин скромных ряд,
С хóлма к берегу идущий,
Где стоит знакомый сад
И журчит ручей бегущий.

Видишь: гнется до зыбей
Распустившаяся ива
И цветет среди полей
Зеленеющая нива.

На лугах, в тени кустов,
Стадо вольное играет;
Мнится, ветер с тех лугов
Запах милый навевает.

Лиц приветливых черты,
Слуху сладостные речи
Узнаёшь в забвеньи ты
Без привета и без встречи.

Возвращаешь давних дней
Неоплаканную радость,
И опять объемлешь с ней
Обольстительницу-младость.

Долго ль мне в мечте одной
Зреть тебя, страна родная,
И бесплодной жить тоской,
К небу руки простирая?

Хоть бы раз глаза возвесть
Дал мне рок на кров домашний
И с родными рядом сесть
За некупленные брашны![23]

1823

Петр Плетнев (1792—1865)

[23] *Брашно* — пища, еда.

* * *

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже;

В них отпрыски пера, которому во дни
Мы светлой радости иль облачной печали
Свои все помыслы, все таинства свои,
Всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на нее легла тень скорби и беды,
Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной,
Сердечной памятью еще живет в утрате,
И утро свежее, и полдня блеск и зной
Припоминаем мы и при дневном закате.

Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,

Я холю свой халат с любовью и почетом.

Между 1874 и 1877

Петр Вяземский (1792—1878)

Ворон

Здорово, друг ворон, бездомный, бессонный,
Разумная птица моя!
Сосед мой, мой ворон, мой гость благосклонный,
Прилет твой приветствую я.
Зачем ты так близко к жилищу живого
И зорко так в очи глядишь?
Иль вещую тайну из мира другого
Ты молча на сердце таишь?
Всё знаю, друг ворон, вещун запоздалый:
Ты поздно подсел под окно, —
Всё знаю, мой ворон, мне сердце сказало,
И сердце сказало давно!

1839, Тверь

Николай Коншин (1793—1859)

* * *

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?

Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.[24]

1824

Кондратий Рылеев (1795—1826)

* * *[25]

Чацкий

Кричи, чтобы скорее подавали.

(Лакей уходит.)

[24] *Риего* — Рафаэль Риэго-и-Нуньес (1785—1823), вождь радикального крыла испанской революции 1820 г.; был казнен после ее поражения.
[25] Отрывок из комедии «Горе от ума» (действие IV, явление 3).

Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли.
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! — Пустое.
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый, вот резво́
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь, и степь, и пусто, и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.

1825

Александр Грибоедов (1795—1829)

Фантастическая высказка

Таракан
Как в стакан
Попадет —
Пропадет,
На стекло
Тяжело
Не всползет.

Так и я:

Жизнь моя
Отцвела,
Отбыла;
Я пленен,
Я влюблен,
Но в кого?
Ничего
Не скажу;
Протужу,
Пока сил
Не лишил
Меня Бог;
Но чтоб мог
Разлюбить,
Позабыть —
Никогда.
Навсегда
Я с тоской,
Грусти злой
Не бегу:
Не могу
Убежать,
Перестать
Я любить —
Буду жить
И тужить.

Таракан
Как в стакан
Попадет —

Пропадет,
На стекло
Тяжело
Не всползет.

апрель 1833

Иван Мятлев (1796—1844)

Подводный город
Идиллия[26]

Море ропщет, море стонет!
Чуть поднимется волна,
Чуть пологий берег тронет, —
С стоном прочь бежит она!

Море плачет; брег песчаный
Одинок, печален, дик;
Небо тускло; сквозь туманы
Всходит бледен солнца лик.

Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Мальчик сети расстилает,
Глядя молча в дальный мрак!

И задумался он, глядя,

[26] Подзаголовок носит иронический характер. В стихотворении использована старая легенда о гибели Петербурга от наводнения.

И взяла его тоска:
«Что так море стонет, дядя?» —
Он спросил у рыбака.

«Видишь шпиль? Как нас в погодку
Закачало с год тому,
Помнишь ты, как нашу лодку
Привязали мы к нему?..

Тут был город всем привольный
И над всеми господин,
Нынче шпиль от колокольни
Виден и́з моря один.

Город, слышно, был богатый
И нарядный, как жених;
Да себе копил он злато,
А с сумой пускал других!

Богатырь его построил;
Топь костьми он забутил,
Только с Богом как ни спорил,
Бог его перемудрил!

В наше море в стары годы,
Говорят, текла река,
И сперла гранитом воды
Богатырская рука!

Но подула буря с моря,

И назад пошла их рать,
Волн морских не переспоря,
Человеку вымещать!

Всё за то, что прочих братий
Брат богатый позабыл,
Ни молитв их, ни проклятий
Он не слушал, ел да пил, —

Оттого порою стонет
Моря темная волна;
Чуть пологий берег тронет —
С стоном прочь бежит она!»

Мальчик слушал, робко глядя,
Страшно делалось ему:
«А какое ж имя, дядя,
Было городу тому?»

«Имя было? Да чужое,
Позабытое давно,
Оттого что не родное —
И не памятно оно».

11 апреля 1847. Москва

Михаил Дмитриев (1796—1866)

Песня

«Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимушка,
Попусту в изъян!

Рано мою косыньку
На две расплетать!
Прикажи мне русую
В ленту убирать!

Пущай, не покрытая
Шелковой фатой,
Очи молодецкие
Веселит собой!

То ли житье девичье,
Чтоб его менять,
Торопиться замужем
Охать да вздыхать?

Золотая волюшка
Мне милей всего!
Не хочу я с волюшкой
В свете ничего!»

«Дитя мое, дитятко,
Дочка милая!
Головка победная,
Неразумная!

Не век тебе пташечкой
Звонко распевать,
Легкокрылой бабочкой
По цветам порхать!

Заблекнут на щеченьках
Маковы цветы,
Прискучат забавушки —
Стоскуешься ты!

А мы и при старости
Себя веселим:
Младость вспоминаючи,
На детей глядим.

И я молодешенька
Была такова,
И мне те же в девушках
Пелися слова!»

1832

Николай Цыганов (1797—1831)

Море сна

Мне ведомо море, седой океан:
Над ним беспредельный простерся туман,
Над ним лучезарный не катится щит;
Но звездочка бледная тихо горит.

Пускай океана неведом конец,
Его не боится отважный пловец;
В него меня манит незанятый блеск,
Таинственный шепот и сладостный плеск.

В него погружаюсь один, молчалив,
Когда настает полуночный прилив,
И чуть до груди прикоснется волна,
В больную вливается грудь тишина.

И вдруг я на береге — будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:
Из окон мне милые лица глядят
И речи приветные слух веселят,

Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?
Все, все они здесь! Удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недра земли!

По-прежнему льется живой разговор;
По-прежнему светится дружеский взор...
При вещем сиянии райской звезды
Забыта разлука, забыты беды.

Но ах! пред зарей наступает отлив —
И слышится мне неотрадный призыв...
Развеялось всё — и мерцание дня

В пустыне глухой осветило меня.[27]

4 сентября 1832

Вильгельм Кюхельбекер (1797—1846)

Русская песня

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
Кто-то бедная, как я,
Ночь прослушает тебя,
Не смыкаючи очей,
Утопаючи в слезах?
Ты лети мой, мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синие моря,
На чужие берега;
Побывай во всех страна́х,
В деревнях и в городах:
Не найти тебе нигде
Горемышнее меня.
У меня ли у младой
Дорог жемчуг на груди,
У меня ли у младой
Жар-колечко на руке,

[27] Стихотворение написано в Свеаборге (совр. Суоменлинна) — крепости близ Хельсинки, в арестантских ротах.

У меня ли у младой
В сердце миленький дружок.
В день осенний на груди
Крупный жемчуг потускнел,
В зимню ночку на руке
Распаялося кольцо,
А как нынешней весной
Разлюбил меня милой.

1825

Антон Дельвиг (1798—1831)

Бесы

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плю́ет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

1830

Александр Пушкин (1799—1837)

Птичка[28]

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,

[28] Стихотворение написанное в порядке поэтического состязания с Пушкиным на заданную тему (см. стихотворение Пушкина «Птичка». Посылая стихотворение Н. И. Гнедичу, Пушкин писал ему 13 мая 1823 г.: «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в Светлое Воскресенье выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это». Светлое Воскресенье — праздник Пасхи.

Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

1827

Федор Туманский (1799—1853)

Смерть

Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косой.

Ты дочь верховного Эфира,[29]
Ты светозарная краса,
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье Всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,

[29] *Эфир* — олицетворение верхнего, лучезарного слоя воздуха, считавшегося местопребыванием Зевса (греч. миф.).

Согласье прям его лия,
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять повращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл безмерный лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

1828

Евгений Боратынский (1800—1844)

Элегия

На скалы, на холмы глядеть без нагляденья;
Под каждым деревом искать успокоенья;
Питать бездействием задумчивость свою;
Подслушивать в горах журчащую струю
Иль звонкое о брег плесканье океана;
Под зыбкой пеленой вечернего тумана
Взирать на облака, разбросанны кругом
В узорах и в цветах и в блеске золотом, —
Вот жизнь моя в стране, где кипарисны сени,
Средь лавров возрастя, приманивают к лени,
Где хижины татар венчает виноград,
Где роща каждая есть благовонный сад.

1824. Алупка

Василий Туманский (1800—1860)

Неведомая странница[30]

Уже толпа последняя изгнанников
Выходит из родного Новагóрода,
    Выходит на Московский путь.
В толпе идет неведомая женщина,

[30] В стихотворении идет речь о покорении Новгорода Иваном III в 1478 г. *Неведомая странница* — св. София, покровительница Новгорода. Новгород для декабристов и близких им по духу людей был символом свободной России.

Горюет, очи ясные заплаканы,
А слово каждое — любовь.

С небесных уст святое утешение,
Как сок целебный, сходит в душу путников,
В них оживает свет очей.
Вокруг жены толпа теснится, слушает;
Услышит слово — сердце расширяется
И усыпляется печаль.

Уже темнеет небо, путь туманится.
Идут... Но в воздух чудная целебница
С пути подъемлется, как пар.
Чело звездами светлыми увенчано,
Чем выше, всё летучий стан воздушнее
И светозарнее чело.

В тумане с нею над главами странников
Не ангелы, но, как она, небесные,
Мерцая, медленно плывут.
Плывет она, и с неба слово тихое
Спадает, замирает в слухе путников,
Не прикасаясь до земли.

«Забыта Русью Божия посланница.
Мой дом был предан дыму и мечу,[31]
И я, как вы — земли родной изгнанница —
Уже в свой город не слечу.

[31] *Мой дом* — Софийский собор.

Вас цепи ждут, бичи, темницы тесные;
В страданиях пройдет за годом год.
Но пусть мои три дочери небесные[32]
Утешат бедный мой народ.

Нет, веруйте в земное воскресение:
В потомках ваше племя оживет,
И чад моих святое поколение
Покроет Русь и процветет».

1829 или 1830

Александр Одоевский (1802—1839)

Две картины

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое:
Его красой озарена,
Цветами радуги играя,
Лежит равнина водяная,
Необозрима и пышна;
Прохлада утренняя веет,
Едва колышутся леса;
Как блестки золота, светлеет
Их переливная роса;
У пробудившегося брега

[32] *Мои три дочери* — Вера, Надежда, Любовь.

Стоят, готовые для бега,
И тихо плещут паруса;
На лодку мрежи собирая,
Рыбак взывает и поет,
И песня русская, живая
Разносится по глади вод.

Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столбом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом:
Как тень, отброшенная тучей,
Вдоль искривленных берегов
Чернеют образы лесов,
И кое-где огонь плавучий
Горит на челнах рыбаков;
Безмолвна синяя пучина,
В дубровах мрак и тишина,
Небес далекая равнина
Сиянья мирного полна;
Лишь изредка, с богатым ловом
Подъемля сети из воды,
Рыбак живит веселым словом
Своих товарищей труды;
Или путем дугообразным
С небесных падая высот,
Звезда над озером блеснет,
Огнем рассыплется алмазным
И в отдаленьи пропадет.

1825

Николай Языков (1803—1847)

* * *

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые, —
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной.[33]

Осень 1849

Федор Тютчев (1803—1873)

Табак

Курись, табак мой! Вылетай
Из трубки, дым приятный,
И облаками расстилай
Свой запах ароматный!
Не столько персу мил кальян
Или шербет душистый,
Сколь мил душе моей туман
Твой легкий и волнистый!

[33] И. С. Аксаков писал: «...однажды, в осенний дождливый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: “j'ai fait quelques rimes” (я сочинил несколько стихов), и, пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение: “Слезы людские, о слезы людские”».

Тиран лишил меня всего —
И чести и свободы,
Но всё курю, назло его,
Табак, как в прежни годы;
Курю и мыслю: как горит
Табак мой в трубке жаркой,
Так и меня испепелит
Рок пагубный и жалкой...
Курись же, вейся, вылетай
Из трубки, дым приятный,
И, если можно, исчезай
И жизнь с ним невозвратно!

1829

Александр Полежаев (1804—1838)

* * *

Сумрак вечерний тихо взошел,
Месяц двурогий звезды повел
В лазурном просторе,
Время покоя, любви, тишины,
Воздух и небо сиянья полны,
Смолкло роптанье разгульной волны,
Сравнялося море.

Сердцу отрадно, берег далек;
Как очарован, спит мой челнок,
Упали ветрила.

Небо, как море, лежит надо мной;
Море, как небо, блестит синевой;
В бездне небесной и бездне морской
Всё те же светила.

О, что бы в душу вошла тишина!
О, что бы реже смущалась она
Земными мечтами!
Лучше, чем в лоне лазурных морей,
Полное тайны и полно лучей,
Вечное небо гляделось бы в ней
Со всеми звездами.

1841

Алексей Хомяков (1804—1860)

Весенний гром

Слышен в небе дальний гром;
Куст окинулся листом,
Из лазурной вышины
Канул первый дождь весны.[34]

Все девицы вереницей
Выбегают на крыльцо
Дождевой умыть водицей
Миловидное лицо.
Серебром в руках звенят;

[34] *Кануть* — капнуть, упасть каплей.

С смехом брызги вдаль летят.

«О весенний гром, греми!
Зимний хлад с полей сними.
Мчись, огнистый Илия,
Теплый дождь с небес лия.
Молим кроткою душою:
В свежих каплях дождевых
Дай нам здравье с красотою,
Чтоб вгляделся в нас жених;
Чтоб, увидя только раз,
Не сводил с нас ясных глаз!»
Дождь прошел; затихнул гром.
Веет ласточка крылом
В поднебесье голубом.
Соловьи в кустах поют;
Блещет листьев изумруд.

1833

Дмитрий Ознобишин (1804—1877)

* * *

Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью власти на челе,

С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.

март 1827

Дмитрий Веневитинов (1805—1827)

Ночь

Как ночь прекрасна и чиста,
Как чувства тихи, светлы, ясны!
Их не коснется суета,
Ни пламень неги сладострастный!

Они свободны, как эфир;
Они, как эти звезды, стройны;
Как в лоне Бога спящий мир,
И величавы и спокойны.

Единый хор их слышу я,
Когда всё спит в странах окрестных!
Полна, полна душа моя
Каких-то звуков неизвестных.

И всё, что ясно зрится в день,
Что может выразиться словом,
Слилося в сумрачную тень,
Облечено мечты покровом.

Неясно созерцает взор,

Но всё душою дозреваешь:
Так часто сердцем понимаешь
Любви безмолвный разговор.

1828

Степан Шевырев (1806—1864)

Неотвязная мысль

Как привяжется, как прилепится
К уму-разуму думка праздная,
Мысль докучная в мозг твой вцепится
И клюет его, неотвязная,
И подобная птице-ворону
Так и каркает в самом темени:
Норовлю от ней как бы в сторону,
Говорю: «Пусти! Нету времени.
День рабочий мне начинается
И кончается он заботою»; —
А несносная упирается:
Я с тобой, дескать, поработаю! —
И становится мне помехою,
И с помехою той досадною,
Что ни сделаю — всё с прорехою
Иль с заплаткою неприглядною.
Вспомнишь прошлое: были случаи —
Сердце юное поразнежится,
Забурлят в уме мысли жгучие,
И одна из них в душу врежется
И займет она всю головушку —

Мысль про тайную ласку дружнюю,
Аль про девушку, аль про вдовушку,
Аль — на грех-беду — про замужнюю,
Да как жаркое сердце свяжется
С этой думкою полюбовною —
Вся вселенная тебе кажется
Софьей Павловной; Ольгой Львовною;
Всюду прелести совершенные,
Всюду милые да прекрасные,
Ненаглядные, незабвенные!
В небе Лидии очи ясные
Во звездах тебе зажигаются,
Ветерок звенит Маши голосом,
Ветки дерева завиваются
Насти локонов мягким волосом;
Стих горит в уме с рифмой бешеной —
Стих, откованный сердца молотом;
На людей глядишь, как помешанный;
Мишуру дают — платишь золотом.
Дело прошлое! Дело древности!
Сколько дел моих ты расстроило!
Сколько было там глупой ревности!..
Да с любовью-то хоть уж стоило
Побезумствовать, покуражиться;
А теперь-то что? — Словно старая
Баба хилая, мысль привяжется
Худощавая, сухопарая;
С теми ль встретишься, с кем ты водишься, —
Речь их сладкая — мед малиновый,
Ты ж словцо сказать не находишься!

Как чурбан какой, пень осиновый,
С головою своей бесталанною
Дураком стоишь, заминаешься,
И на мысль свою окаянную
Всеми силами ополчаешься;
Гонишь прочь ее речью грубою:
«Вон из Питера! В подмосковную!
Не сравню ж тебя я, беззубую,
С Софьей Павловной, с Ольгой Львовною.
Отцепись же ты, сухопарая,
Неотвязная, безотходная!
Убирайся прочь, баба старая!
Фёкла Савишна ты негодная!»
Я гоню ее с криком, топотом,
Не стихом кричу — прозой рубленной,
А она в ответ полушепотом:
«Не узнал меня, мой возлюбленный!
А всё та же я, только смолоду
Я жила с тобой в женской прелести,
Но прибавилось в жизни холоду —
И осунулись бабьи челюсти;
Целовать меня не потянешься,
Счастья дать тебе не могущую,
Да зато во мне не обманешься,
Говорю тебе правду сущую,
И служу тебе верной парою,
И угрюмая, и суровая,
За тобой хожу бабой старою,
А за мной идет баба новая:
В белизне она появляется,

И суха, суха — одни косточки,
А идет она — ухмыляется,
А коса у ней вместо тросточки.
То не та коса благовонная,
Что, обвитая лентой тонкою
И тройным жгутом заплетенная,
Гордо держится под гребенкою,
Что суши́т, крушит сердце юноши,
Что — корона днем самопышная,
А рассыплется до полуночи —
Покрывало сбрось: вещь излишняя!
Для двоих тут есть чем закутаться,
Да останется — сердцу ярому,[35]
Чем на век еще перепутаться
И веревку свить мужу старому.
То не та коса! — как свистящая
Сабля острая, круто-гнутая,
То коса всех кос, всекосящая;
С той косой идет баба лютая.
Нет кудрей у ней — нечем встряхивать,
Голова у ней безволосая,
Лишь косой вертеть да помахивать
Любит бабушка та курносая».

Владимир Бенедиктов (1807—1873)

* * *

Salut, salut, consolatrice!

[35] *Ярый* — огненный, пылкий; крайне ретивый, рьяный.

Ouvre tes bras, je viens chanter.
Musset[36]

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!

Проснись же, смолкнувшее слово!
Раздайся с уст моих опять;
Сойди к избраннице ты снова,
О роковая благодать!
Уйми безумное роптанье
И обреки всё сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!

февраль 1854. Дерпт

Каролина Павлова (1807—1893)

Вторая песня Лихача Кудрявича

В золотое время
Хмелем кудри вьются;

[36] Привет, привет, утешительница! Открой объятия, я запою! *Мюссе* (франц.).

С горести-печали
Русые секутся.

Ах, секутся кудри!
Любит их забота;
Полюбит забота —
Не чешет и гребень.

Не родись в сорочке,
Не родись таланлив —
Родись терпеливым
И на всё готовым.

Век прожить — не поле
Пройти за сохою;
Кручину, что тучу,
Не уносит ветром.

Зла беда — не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.

От ее напасти
Не уйти на лыжах;
В чистом поле на́йдет,
В темном лесе сыщет.

Чуешь только сердцем:
При́дет, сядет рядом,

Об руку с тобою
Пойдет и поедет...

И щемит и ноет,
Болит ретивое —
Всё — из рук вон плохо,
Нет ни в чем удачи.

То́ — скосило градом,
То́ — сняло пожаром...
Чист кругом и легок;
Никому не нужен...

К старикам на сходку
Выйти приневолят, —
Старые лаптишки
Без онуч обуешь;[37]

Кафтанишка рваный
На плечи натянешь;
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь...

Тихомолком станешь
За чужие плечи...
Пусть не видят люди
Прожито́ва счастья.

1837

[37] *Онучи* — обмотки для ног под сапоги или лапти; портянки.

Алексей Кольцов (1809—1842)

Жаворонок

Между небом и землей
Песня раздается,
Неисходною струей
Громче, громче льется.

Не видать певца полей!
Где поет так громко
Над подружкою своей
Жаворонок звонкой.

Ветер песенку несет,
А кому — не знает.
Та, к кому она, поймет.
От кого — узнает.

Лейся ж, песенка моя,
Песнь надежды сладкой...
Кто-то вспомнит про меня
И вздохнет украдкой.

11 июля 1840

Нестор Кукольник (1809—1868)

* * *

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит, —
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист, дрожит.

Извела меня кручина,
Подколодная змея!..
Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я!

Не житье мне здесь без милой,
С кем теперь идти к венцу?
Знать, судил мне рок с могилой
Обручиться молодцу.

Расступись, земля сырая,
Дай мне, молодцу, покой,
Приюти меня, родная,
В тесной келье гробовой.

Мне постыла жизнь такая,
Съела грусть меня, тоска…
Скоро ль, скоро ль гробовая
Скроет грудь мою доска!

1830-е годы

Семен Стромилов (1810—1860)

* * *

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.

Столько грусти в той песне унылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнем.

И припомнил я ночи иные
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка.
И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека…

Николай Макаров (1810—1890)

Колокольчик

Звенит, гудит, дробится мелкой трелью
Валдайский колокольчик удалой...
    В нем слышится призыв родной, —
Какое-то разгульное веселье
С безумной, безотчетною тоской...

Кто едет там?.. Куда?.. С какою целью?..
Зачем?.. К кому?.. И ждет ли кто-нибудь?..
Трепещущую счастьем грудь
Смутит ли колокольчик звонкой трелью?..
Спешат, летят!.. Бог с ними... Добрый путь!..

Вот с мостика спустились на плотину,
Вот обогнули пруд, и сад, и дом...
Теперь поехали шажком...
Свернули в парк аллеею старинной...
И вот ямщик стегнул по всем по трем...

Звенит, гудит, как будто бьет тревогу,
Чтоб мысль завлечь и сердце соблазнить!..
И скучно стало сиднем жить,
И хочется куда-нибудь в дорогу,
И хочется к кому-нибудь спешить!..

27 августа 1853. Вороново

Евдокия Растопчина (1811—1858)

Думы беглеца на Байкале

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко!

Долго я звонкие цепи носил;
Худо мне было в норах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил;
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь;
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка — миновала.

Шел я и в ночь — и средь белого дня;
Близ городов я поглядывал зорко;
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне
Вплавь чрез глубокие реки пускался;
Мелкие речки встречалися мне —
Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец:
Берег обширен, а нет ни корыта;
Шел я коргой — и пришел наконец
К бочке, дресвою замытой.

Нечего думать, — Бог счастье послал:
В этой посудине бык не утонет;
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней было бы жить омулям;
Рыбки, утешьтесь моими словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам —
В бочку полезли бы сами!

Четверо суток верчусь на волне;
Парусом служит армяк дыроватый,
Добрая лодка попалася мне, —
Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,
Буду спокойно скрываться под тенью;
Можно и тут погулять бы, да бес
Тянет к родному селенью.

Славное море — привольный Байкал,
Славный корабль — омулевая, бочка...
Ну, баргузин, пошевеливай вал:
Плыть молодцу недалечко!

Примечания

Беглецы из заводов и с поселений вообще известны под именем «прохожих». Они идут, не делая никаких шалостей, и питаются подаянием сельских жителей, которые не только не отказывают им никогда в куске хлеба, но даже оставляют его в известных местах для удовлетворения голода прохожих. Беглецы не делают дорогою преступлений из боязни преследования; а жители не ловят их сколько потому, что это для них неудобно, а более из опасения, что пойманный, при новом побеге, отомстит поимщику. Беглецы боятся зверопромышленников и особенно бурят: существует убеждение, будто бы они стреляют прохожих (это и выражает стих: «Пуля стрелка — миновала»).
Беглецы с необыкновенною смелостию преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки на каком-нибудь обломке дерева; и были примеры, что они

рисковали переплыть Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря и в которых обыкновенно рыболовы солят омулей.
Шилка и Нерчинск. Под этими словами здесь разумеются всегда Шилкинский и Большой Нерчинский заводы. В последнем из них сосредоточено заводское управление. Говорят: «Партия ссыльных идет в Нерчинск»; значит — в Нерчинские заводы. Собственно же Нерчинск не что иное, как город, и туда никого за преступления не ссылают. *Акатуйский рудник* — место для самых злейших преступников. *Баргузин* — так называется на Байкале северо-восточный ветер, которым суда идут от Забайкалья на Иркутскую сторону. *Корга* — береговая отлогость.

1858

Дмитрий Давыдов (1811—1888)

* * *

Я не люблю тебя: мне суждено судьбою,
Не полюбивши, разлюбить.
Я не люблю тебя; больной моей душою
Я никого не буду здесь любить.

О, не кляни меня! Я обманул природу,
Тебя, себя, когда в волшебный миг
Я сердце праздное и бедную свободу
Поверг в слезах у милых ног твоих.

Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
Я презирал бы горько сам себя,
И, как безумный, я и плачу и тоскую,
И всё о том, что не люблю тебя!..

1838

Иван Клюшников (1811—1895)

Черные очи

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час.

Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нем сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам.

1843

Евгений Гребенка (1812—1848)

Вечер

Когда настанет вечер ясный,
Люблю на берегу пруда
Смотреть, как гаснет день прекрасный
И загорается звезда,

Как ласточка, неуловимо
По лону вод скользя крылом,
Несется быстро, быстро мимо —
И исчезает... Смутным сном
Тогда душа полна бывает —
Ей как-то грустно и легко,
Воспоминанье увлекает
Ее куда-то далеко.
Мне грезятся иные годы,
Такой же вечер у пруда,
И тихо дремлющие воды,
И одинокая звезда,
И ласточка — и всё, что было,
Что сладко сердце разбудило
И промелькнуло навсегда.

1840—1841

Николай Огарев (1813—1877)

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

1841

Михаил Лермонтов (1814—1841)

Сердце

Поиграли бедной волею
Без любви и жалости,
Повстречались с новой долею —
Надоели шалости.

А пока над ним шутили вы,
Сердце к вам просилося;
Отшутили, разлюбили вы —
А оно разбилося.

И слезами над подушкою
Разлилось, распалося...
Вот что с бедною игрушкою,
Вот что с сердцем сталося.

1841

Эдуард Губер (1814—1847)

Перерождение

Прости, лечу! В дали необозримой,
Как утренний туман, исчезну я,
Невидима очам, для чувств непостижима,
Как темная загадка бытия.

Твои смешны ничтожные усилья,

Тебе нельзя достигнуть до меня:
Я легче воздуха, я получила крылья,
Теперь совсем другая я.

Смотри: как тлен, мои распались цепи,
Мне радостный отныне жребий дан, —
Я беспредельные теперь увижу степи,
Я преплыву безбрежный океан.

Прости, лечу! В красе неизъяснимой
Передо мной и небо, и земля;
И в мире многое мне стало постижимо, —
Теперь совсем другая я.

1835

Надежда Теплова (1814—1848)

* * *[38]

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из крыльев комаришки
Сделал две себе манишки
И — в крахмал!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из грецкого ореха
Сделал стул, чтоб слушать эхо,

[38] Обращено, вероятно, к Марии Григорьевне Карташевской, двоюродной сестре поэта. К. С. Аксаков ее горячо любил, но отец его возлюбленной запретил молодым людям видеться. На эти слова написана П. И. Чайковским «Детская песенка».

И кричал!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из листика сирени
Сделал зонтик он для тени
И гулял!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из скорлупы яичной
Фаэтон себе отличный
Заказал!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что из скорлупы рачонка
Сшил четыре башмачонка
И — на бал!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что, одувши одуванчик,
Он набил себе диванчик,
Тут и спал!

Мой Марихен так уж мал, так уж мал,
Что наткать себе холстины
Пауку из паутины
Заказал!

1836

Константин Аксаков (1817—1860)

* * *

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

1851

Алексей Толстой (1817—1875)

* * *

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять;
Вдруг охотник прибегает,
Из ружья в него стреляет...
Пиф-паф! ой, ой, ой!
Умирает зайчик мой![39]

1851

Федор Миллер (1818—1881)

В дороге

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,

[39] Каждый читатель может ощутить себя таким зайчиком и погрустить-посмеяться над своей жизнью. И как замечательно она описана: «Раз, два, три, четыре, пять»! (Примечание составителя.)

Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

ноябрь 1843

Иван Тургенев (1818—1883)

* * *

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его, —
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.

Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной,
Что так бьется ретивое
И терзается тоской.

Всё оно во мне изныло,
Вся горю я как огнем,
Всё не мило мне, постыло,
Всё страдаю я по нем.

Мне не надобны наряды
И богатства всей земли...
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли...

Сжалься, сжалься же, родная,
Перестань меня бранить.
Знать, судьба моя такая, —
Я должна его любить!..

1850-е годы

Алексей Разоренов (1819—1891)

Ночь

Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

Что́ мне звезды — луна — небосклон — облака —
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,
Превращает в алмазы росинки цветка,
И, как путь золотой, через море бежит?

Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет!
Усладит ли он горечь скрываемых слез,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!

Что мне сумрак холмов — трепет сонных листов —
Моря темного вечно-шумящий прибой —
Голоса насекомых во мраке садов —
Гармонический говор струи ключевой?

Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум!
Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум —
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Оттого, может быть, что далек мой покой! —

30 августа 1850. Массандра, на южном берегу Крыма

Яков Полонский (1819—1898)

* * *

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

1841

Афанасий Фет (1820—1892)

* * *

Когда в высокие минуты бытия
Внимает ум сердечным убежденьям,
И открывается всему душа моя,
Восторженным полна ясновиденьем:
Тогда одним живущим существом
Я вижу мир перед собою,
И многое сливается в одном,
И дышет общею душою;
Тогда бездушное живет подобно мне,
И, кажется, ничто не жить не может,
И вечно мир растет в своей весне,
И ничего в нем время не изгложет...

1848

Николай Щербина (1821—1869)

Утро

Ты грустна, ты страдаешь душою:
Верю — здесь не страдать мудрено.
С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.

Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,

Что сидят на вершине стога;

Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом,
Это мутное небо... Хоть плачь!

Но не краше и город богатый:
Те же тучи по небу бегут;
Жутко нервам — железной лопатой
Там теперь мостовую скребут.

Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Повезли — там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке

Первой степени Анна лежит.[40]

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем эта́же раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой...

1874

Николай Некрасов (1821—1878)

* * *

Весна! Выставляется первая рама —
    И в комнату шум ворвался,
    И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:
    Вон — даль голубая видна...
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!

1854

Аполлон Майков (1821—1897)

Вечерняя заря

[40] Орденом Святой Анны 1-й степени награждались исключительно генералы.

Была пора уборки хлеба,
Пора в полях работы страдной.
Садилось солнце, меркло небо,
И ветерок подул прохладный.

Уж бабы с граблями толпою
Ушли с оконченной работы;
И их напева, под горою,
Чуть слышны тающие ноты.

Ушли крестьяне молчаливо;
А между тем уж солнце село,
Когда покинутая нива
Еще не вовсе опустела.

В телеге кормит мать ребенка;
Отец и мальчик расторопный
Уж запрягли; но лошаденка
Туда всё тянется, где копны.

И вдруг за этой кучкой черни,
Над скудным бытом темных мира —
Зажглись огни зари вечерней
И развернулася порфира...[41]

Я их узрел, с их нищетою,
С их видом кротким и усталым,
Парчой убранных золотою,
Среди лучей, под сводом алым.

[41] *Порфира* — верхняя царская одежда: широкий плащ из багряного шелка, подбитый горностаем.

И мнилось мне, что с небосклона
В юдоль труда и воздыханья
Сошла явленная икона[42]
В венце небесного сиянья.

1888. Павловка[43]

Алексей Жемчужников (1821—1908)

Знаешь ли, Юленька

Ю. И. Липиной[44]

Знаешь ли, Юленька, что мне недавно приснилося?..
Будто живется опять мне, как смолоду жилося;
Будто мне на́ сердце веет бывалыми вёснами:
Просекой, дачкой, подснежником, хмурыми соснами,
Талыми зорьками, пеночкой, Невкой, березами,
Нашими детскими... нет! — уж не детскими грезами!
Нет!.. уже что-то тревожно в груди колотилося...
Знаешь ли, Юленька?.. глупо!.. А всё же приснилося...

1860

Лев Мей (1822—1862)

---

[42] *Явле́нная икона* — чудесно обретенная икона.
[43] «Последние годы, — писал Жемчужников в предисловии к сборнику «Песни старости» в 1899 году, — я проживал и в деревне, и в городе... Лето я проводил и у себя в Павловке (Елецкого уезда Орловской губернии), и у моих родных: в Стенькине (имение А. С. Мерхелевича, близ Рязани), а с 1896 года постоянно в Ильиновке (имение мужа моей старшей дочери, М. А. Боратынского, в Кирсановском уезде Тамбовской губернии)».
[44] Липина Юлия Ивановна (урожд. Мей) — двоюродная сестра поэта.

* * *

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.

Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована…

И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое…

Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую…
Допой же мне — договори
Ты песню недопетую.

Договори сестры твоей
Все недомолвки странные…
Смотри: звезда горит ярчей…

О, пой, моя желанная!

И до зари готов с тобой
Вести беседу эту я…
Договори лишь мне, допой
Ты песню недопетую!

1857

Аполлон Григорьев (1822—1864)

Элегия

«Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя;
Золотою казной
Я осыплю тебя.

Саклю пышно твою
Разукрашу кругом,
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.

Галуном твой бешмет[45]
Разошью по краям
И тебе пистолет
Мой заветный отдам.

Дам старее тебя

[45] *Бешмет* — стеганый полукафтан.

Тебе шашку с клеймом,
Дам лихого коня
С кабардинским тавром.[46]

Дам винтовку мою,
Дам кинжал Базалай,
Лишь за это свою
Ты жену мне отдай.

Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.

Тяжело без любви
Ей тебе отвечать
И морщины твои
Не любя целовать.

Видишь, вон Ямман-Су[47]
Моет берег крутой,
Там вчера я в лесу
Был с твоею женой.

Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Всё молчало кругом.

[46] *Тавро* — клеймо, выжигаемое на коже лошадей и служащее отличительным знаком.
[47] *Ямман-Су* — горная река на Северном Кавказе.

И играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.

Мне она отдалась
До последнего дня
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя!»

Крепко шашки сжимал
Хас-Булат рукоять
И, схватись за кинжал,
Стал ему отвечать:

«Князь! рассказ длинный твой
Ты напрасно мне рек,
Я с женой молодой
Вас вчера подстерег.

Береги, князь, казну
И владей ею сам,
За неверность жену
Тебе даром отдам.

Ты невестой своей
Полюбуйся поди,
Она в сакле моей
Спит с кинжалом в груди.

Я глаза ей закрыл,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на губах».

Голос смолк старика,
Дремлет берег крутой;
И играет река
Перекатной волной.

1858

Александр Аммосов (1823—1866)

* * *

Странным чувством объята душа,
Будто хочет проститься с землею,
Будто всё, чем земля хороша,
С бесконечной и пестрой семьею,
Всё покинуть ей до́лжно спеша!..

И с порывом тоскливо-больным
Просит воли, — на миг позабыться,
Всё вместить, полюбить, всем земным,
Всем дыханием жизни упиться,
Всем блаженством ее молодым!..

1847

Иван Аксаков (1823—1886)

* * *

Помнишь? — с алыми краями
Тучки в озере играли;
Шапки на ухо, верхами
Ребятишки в лес скакали.

Табуном своим покинут,
Конь в воде остановился
И, как будто опрокинут,
Недвижим в ней отразился.

При заре румяный колос
Сквозь дремоту улыбался;
Лес синел. Кукушки голос
В сонной чаще раздавался.

По поляне перед нами,
Что ни шаг, цветы пестрели,
Тень бродила за кустами,
Краски вечера бледнели...

Трепет сердца, упоенье, —
Вам в слова не воплотиться!
Помнишь?.. Чудные мгновенья!
Суждено ль им повториться?

1858

Иван Никитин (1824—1861)

* * *

Я всё еще его, безумная, люблю!
При имени его душа моя трепещет;
Тоска по-прежнему сжимает грудь мою,
И взор горячею слезой невольно блещет.

Я всё еще его, безумная, люблю!
Отрада тихая мне душу проникает,
И радость ясная на сердце низлетает,
Когда я за него Создателя молю.

1846

Юлия Жадовская (1824—1883)

* * *

Тихо всё, глядится месяц
В воды зыбкие реки;
За рекою слышны песни
И мелькают огоньки.

Отчего так сердцу больно?
Дней ли прошлых стало жаль,
Иль грядущего пугает

Неразгаданная даль?

Отчего в груди томленье?
И туманит взор слеза?
Или снова надо мною
Собирается гроза?

Вот сокрылся месяц в тучи,
Огоньков уж не видать;
Стихли песни... Скоро ль, сердце,
Перестанешь ты страдать?

1858

Алексей Плещеев (1825—1893)

* * *

Только помыслишь о воле порой,
Словно повеет откуда весной.

Сердце охватит могучая дрожь;
Полною жизнью опять заживешь.

Мир пред тобою широкий открыт;
Солнце надежды над далью горит.

Ждет тебя дело великое вновь,
Счастье, тревога, борьба и любовь.

Снова идешь на родные поля,
Труд и надежды с народом деля.

Пусть будет снова боренье со злом,
Пусть и падешь ты, не сладив с врагом,

Пусть будут гибель, страданья, беда, —
Только б не эта глухая чреда.

1863 или 1864

Михаил Михайлов (1829—1865)

* * *

Он был титулярный советник,[48]
Она — генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.

Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь,
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.

1859

Петр Вейнберг (1831—1908)

[48] *Титулярный советник* — девятая ступень из 14 на гражданской службе в петровской Табели о рангах (соответствовал капитану в армии и поручику в гвардии). Обладатели этого чина были уже не секретарями, но еще и не полноправными советниками. Генеральские чины начинались с четвертой ступени (действительный статский советник, тайный советник, действительный тайный советник).

Весна

Опять твои увижу я поля,
Природа-мать, — не в царственном уборе,
Как в тех страна́х, где знойная земля
Цветет, глядит — со страстию во взоре;
Нет, бедная, из-под своих снегов
Ты явишься передо мною снова...
Но всё равно тебе моя любовь,
Тебе любви приветливое слово!
Зажжется грудь желаньями опять,
И скромные, чуть слышимые грозы
Твои на ум навеют благодать
И на глаза живительные слезы.
Я лепет твой, с тобой наедине,
Услышу, полн волнения, как прежде;
И в рубище своем ты будешь мне
Опять мила, как в царственной одежде.
И сам себя, под рубищем своим,
Почувствую царем я в мире снова —
В тени лесов, под небом голубым,
Средь лепета и ропота родного.

1861

Платон Кусков (1834—1909)

Рассвет в деревне

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний ветер уши навостряя.
По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идет обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вот ставней хлопнули: в окне старик седой
Глядит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идет к реке, огнем зари пригрета.
Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздикою и медом
И теплой свежестью распаханной земли...

Константин Случевский (1837—1904)

Мухи

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружáтся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая,
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая,
Валится книга из рук, разговор упадает, бледнея...
Эх, кабы вечер придвинулся! Эх, кабы ночь поскорее!

Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:
Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою!

Только прогонишь одну, а уж в сердце впилася другая, —
Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!
Хочешь забыть, разлюбить, а всё любишь сильней и больнее...
Эх, кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее!

1873

Алексей Апухтин (1840—1893)

Смерть

Мне кажется, что я умру в дороге,
На станции. Глухая будет ночь,
Я не смогу усталость превозмочь
И задремлю тихонько на пороге.
Там в темноте меняют лошадей,
Среди теней и тусклых фонарей
Бубенчиков раздались переливы,
И фыркает протяжно конь ленивый...

А ночь темна — без звезд и без лучей.

И снится мне, что я приеду скоро,
Что вот теперь уж кончен скучный путь,
Что будет мне так сладко отдохнуть
Средь тихих слов простого разговора,
Под жаркий треск растопленных печей...

А ночь темна — без звезд и без лучей.

Вот огоньки блеснули мне приветно,
И сердце им забилося ответно,
И хочется туда лететь, бежать
И нового так много рассказать,
И хочется так многих мне увидеть,
По-старому любить и ненавидеть
И страстно жить опять среди людей...

А ночь темна — без звезд и без лучей.

Темна, темна! И сердце вдруг упало...
Ну, стоит ли стремиться и желать
И новое всё что-то узнавать?
И эта мысль мне мозг застывший сжала:
Так тяжела, упорна и одна,
Как ночь кругом, черна и холодна...
Ну стоит ли? Ведь всё одно и то же!

Когда-то был я лучше и моложе,
Мне нравилась вся эта трескотня,
Весь этот блеск так радовал меня!
Ну, а теперь... теперь с меня довольно!
Но отчего ж вдруг сердцу стало больно?

И отчего — всё будто холодней
Сырой туман ползет с сырых полей?

Ну пусть уж так! Пусть тише сердце бьется!
Холодный мрак всё тише раздается...
Но хорошо! Вот так бы всё лежать!

Ни мучиться, ни думать, ни желать,
И мирно спать без снов — покойно, вечно...

И дальше не поеду я, конечно.

1862

Федор Берг (1840—1909)

Рябина

«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?»

— «С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.

Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.

Там, за тыном, в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле,
Дуб растет высокой.

Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.

Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.

Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться».

1864

Иван Суриков (1841—1880)

* * *

Из-за острова на стрежень[49],
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин,
Обнявши́сь с своей княжной,
Свадьбу новую справляет

[49] *Стрежень* — глубокая часть речного русла с быстрым течением.

И веселый и хмельной.

А княжна, склонивши очи,
Ни жива и ни мертва,
Робко слушает хмельные,
Неразумные слова.

«Ничего не пожалею!
Буйну голову отдам!» —
Раздается по окрестным
Берегам и островам.

«Ишь ты, братцы, атаман-то
Нас на бабу променял!
Ночку с нею повозился —
Сам наутро бабой стал…

Ошалел…» Насмешки, шепот
Слышит пьяный атаман —
Персиянки полоненной
Крепче обнял полный стан.

Гневно кровью налилися
Атамановы глаза,
Брови черные нависли,
Собирается гроза…

«Эх, кормилица родная,
Волга — матушка-река!
Не видала ты подарков

От донского казака!..

Чтобы не было зазорно
Перед вольными людьми,
Перед вольною рекою, —
На, кормилица… возьми!»

Мощным взмахом поднимает
Полоненную княжну
И, не глядя, прочь кидает
В набежавшую волну…

«Что затихли, удалые?..
Эй ты, Фролка, черт, пляши!..
Грянь, ребята, хоровую
За помин ее души!..»

1883

Дмитрий Садовников (1847—1883)

* * *

Снилось мне утро лазурное, чистое,
Снилась мне родины ширь необъятная,
Небо румяное, поле росистое,
Свежесть и юность моя невозвратная...

Снилось мне, будто иду я дорогою, —
Ярче и ярче восток разгорается,

Сердце полно предрассветной тревогою,
Сердце от счастья любви разрывается.

Рощи и воды младенческим лепетом
Мне отвечают на чувство приветное;
Шепчут уста с умиленьем и трепетом
Имя любимое, имя заветное!..

1884

Арсений Голенищев-Кутузов (1848—1913)

* * *

Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

18 сентября 1887

Владимир Соловьев (1853—1900)

* * *

То было на Валлен-Коски.[50]
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
Всё будто рвалася назад.

Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук, —
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,

[50] *Валлен-Коски* — водопад на реке Вуоксе.

За дело полтину взял.[51]

И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

Иннокентий Анненский (1855—1909)

* * *

У моря поэтов, у моря богов,
У светлого, южного моря[52]

[51] *Чухонец* — пренебрежительное обозначение финна (в разговорной речи, напр. в старом Петербурге, могло употребляться и без пренебрежительного оттенка).
[52] Имеется в виду Средиземное море.

Мне снятся метели и бледность снегов
На русском широком просторе.

Как черные лебеди, к яркой скале
Плывут корабли вереницей...
Мне снится кораблик на тонкой игле
Над северной, серой столицей...[53]

1890

Петр Бутурлин (1859—1895)

* * *

Закралась в угол мой тайком,
Мои бумаги раскидала,
Тут росчерк сделала пером,
Там чей-то профиль набросала;
К моим стихам чужой куплет
Приписан беглою рукою,
А бедный, пышный мой букет
Ощипан будто саранчою!..
Разбой, грабеж!.. Я не нашел
На месте ничего: всё сбито,
Как будто ливень здесь прошел
Неудержимо и сердито.
Открыты двери на балкон,
Газетный лист к кровати свеян...
О, как ты нагло оскорблен,

[53] Кораблик на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Мой мирный труд, и как осмеян!
А только встретимся, — сейчас
Польются звонко извиненья:
«Простите, — я была у вас...
Хотела книгу взять для чтенья...
Да трудно что-то и читать:
Жара... брожу почти без чувства...
А вы к себе?.. творить?.. мечтать?..
О бедный труженик искусства!»
И ждет, склонив лукавый взгляд,
Грозы сурового ответа, —
А на груди еще дрожат
Цветы из моего букета!..

1885

Семен Надсон (1862—1887)

Вечерний чай

Гроза прошла. В обрывках туч
Уже горит вечерний луч
Кудрявым заревом... Левкоев
Душистей сладкий аромат.
У дачных сумрачных покоев
Открыты окна в мокрый сад.

Балкон под влажной парусиной
Еще пустынен, хоть на нем
Накрыт для чая стол, кругом

В живых цветах... Меж тем в гостиной
От ранних свечек блеск скользит...
Раскрыт пюпитр, рояль звучит.

И бурно льется музыкальный
Этюд. В саду же, на песке,
Играют дети в бильбоке,
И шар, как маятник печальный,
Вперед качаясь и назад,
Ложится в лузу невпопад.

Темнеет в мягкой сени сада,
А на балконе — самовар
Еще всё медлит. Летний жар
Остыл. Вечерняя прохлада
Ко сну смежила цвет гвоздик
И листья клевера... Поник

И замер сад. Скрипит калитка,
Звучат живые голоса.
Раздался визг веселый пса,
Бегущего навстречу прытко
Толпе нарядной... Говор, смех...

Непринужденны все и бойки.
Фасоны платьев модной кройки,
И лица — радостны у всех.
Блеснула лампа на балконе,
И самовар внесен... Слыхать,
Как людям стали отвечать

Стаканы в мягком перезвоне...

Свет в сад упал. Деревьев сень
Чертит и движет по аллее
Свою обманчивую тень.
Стал разговор еще живее,
Еще наивней юный смех
Среди безоблачных утех.

О, здесь, конечно, есть влюбленный,
И есть влюбленная. Чете
Смеется даже сад зеленый
В своей неверной темноте!

Здесь дышит всё кануном счастья,
И, может быть, когда-нибудь,
Тогда, как черное ненастье
Заворожит счастливцам путь, —

Им будет радостным виденьем
Казаться улетевший рай,
Балкон с вечерним освещеньем
И запоздалый этот чай.

июнь 1898

Константин Фофанов (1862—1911)

* * *

Хорошо, когда так снежно.
Всё идешь себе, идешь.
Напевает кто-то нежно,
Только слов не разберешь.

Даже это не напевы.
Что же? ветки ль шелестят?
Или призрачные девы
В хрупком воздухе летят?

Ко всему душа привычна,
Тихо радует зима.
А кругом всё так обычно,
И заборы, и дома.

Сонный город дышит ровно,
А природа вечно та ж.
Небеса глядят любовно
На подвал, на бельэтаж.

Кто высок, тому не надо
Различать, что в людях ложь.
На земле ему отрада
Уж и та, что вот, живешь.

10 декабря 1913, Чернигов

Федор Сологуб (1863—1927)

* * *

Песню спеть — не хитрая наука,
Если в сердце песня запоет.
Божий мир весь полон света, звука:
Человек угрюмо прочь идет.

А когда б, как на лужайке дети,
Он вмешался в общий хор без слов,
И его в свои поймало б сети
Солнышко, веселый рыболов.

В полном сердце песня бы запела,
Как растет весною мурава,
И душа, что, вдовствуя, немела,
Золотые родила б слова.

август 1919

Вячеслав Иванов (1866—1949)

Белая сирень

Умирают белые сирени.
Тихий сад молитвы им поет,
И ложатся близкой смерти тени
На цветы, как ржавчины налет.

А вокруг всё дышит жизнью смелой,
Все цветы надеждами полны,
Лишь тебе, рожденной ночью белой,

Умереть с последним днем весны.

Но душой, не ведающей тленья
И земных мгновений и оков,
Буду помнить белую сирень я
И дыханье звездных лепестков.

1903

Поликсена Соловьева (Allegro) (1867—1924)

Паутинки

Если вечер настанет и длинные, длинные
Паутинки, летая, блистают по воздуху,
Вдруг запросятся слезы из глаз беспричинные,
И стремишься из комнаты к воле и к отдыху.

И, мгновенью отдавшись, как тень, преклоняешься,
Удивляешься Солнцу, за лесом уснувшему,
И с безмолвием странного мира сливаешься,
Уходя к незабвенному, к счастью минувшему.

И проходишь мечтою аллеи старинные,
Где в вечернем сиянии ждал неизвестного
И ребенком следил, как проносятся длинные
Паутинки воздушные, тени Чудесного.

Осень, 1897

Константин Бальмонт (1867—1942)[54]

Вещи

Дневной кошмар неистощимой скуки,
Что каждый день съедает жизнь мою,
Что давит ум и утомляет руки,
Что я напрасно жгу и раздаю;

О вы, картонки, перья, нитки, папки,
Обрезки кружев, ленты, лоскутки,
Крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки,
Дневной кошмар унынья и тоски!

Откуда вы? К чему вы? Для чего вы?
Придет ли тот неведомый герой,
Кто не посмотрит, стары вы иль новы,
А выбросит весь этот хлам долой!

Мирра Лохвицкая (1869—1905)

Песня

Окно мое высóко над землею,
    Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею, —
    С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,

[54] Бальмóнт.

Таким пустым и бледным…
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю…

И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете…
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

1893

Зинаида Гиппиус (1869—1945)

Тетя

Обезножела старая тетя.
Лежит в постели девятый день
В полусознанье, в полудремоте.
Племянники думают: просто лень.

А старая тетя у грани сознанья
Нашла боковую тропинку одну,
Какой не находит племянник,
Когда отходит ко сну.

Ни сон, ни жизнь, а явь боковая,
От жизни и сна в стороне.
Туда улетает тетя хромая,
Легка, как птица, в своем полусне.

1919, Киев

Варвара Малахиева-Мирович (1869—1954)

Символическое

Прочь бездушная действительность!..
Я хочу лучистых грез,
Мотыльков, веселых ласточек,
Белых ландышей и роз!..

Я хочу упиться чарами
Смутных чувств и белых снов —
При волшебном лунном трепете,
В царстве фей и соловьев!

Я хочу безмолвной музыкой,
Точно воздухом, дышать;
Уловить неуловимое,
Непостижное понять!..

Только светлая, влюбленная
И счастливая мечта
Знает царство вечной юности,
Где любовь и красота!

Прочь бездушная действительность!..
Я хочу лучистых грез,
Мотыльков, веселых ласточек,
Белых ландышей и роз!..

1895

Иван Лялечкин (1870—1895)

* * *

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.

Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

1952

Иван Бунин (1870—1953)

* * *

Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг, —
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Веселый плотник сколотит терем.
Светлый тес — не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит.

Оно всё торопится, бьется под спудом,
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов...
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы всё спали, а терем готов.
Но что это, Боже? Не бьется ль тише?
Со страхом к сердцу прижалась рука...
Плотник, ведь ты не достроил крыши,
Не посадил на нее конька!

1916

Михаил Кузмин (1872—1936)

* * *

Я чувствую —
Мы все
Должны собраться,
Весь мир живой,
Для общего
И важного решенья.
Какого? Я не знаю,
Но громадной,
Необъятной важности,
От которого зависит
ВСЁ.
Затем мы и живем,
То есть — движемся
Друг к другу.

14 июля 1924

Василий Мазурин (1872—1939)

Конь блед

И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть.
Откровение, VI, 8

I

Улица была — как буря. Толпы проходили,

Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком,
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ.

II

И внезапно — в эту бурю, в этот адский шепот,
В этот воплотившийся в земные формы бред,
Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот,
Заглушая гулы, говор, грохоты карет.
Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
Полосами яркими, как пряжей пышных ниток,
В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь.

III

И в великом ужасе, скрывая лица, — люди

То бессмысленно взывали: «Горе! с нами Бог!»,
То, упав на мостовую, бились в общей груде...
Звери морды прятали, в смятеньи, между ног.
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей, — в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
«Люди! Вы ль не узнаёте Божией десницы!
Сгибнет четверть вас — от мора, глада и меча!»

IV

Но восторг и ужас длились — краткое мгновенье.
Через миг в толпе смятенной не стоял никто:
Набежало с улиц смежных новое движенье,
Было всё обычным светом ярко залито.
И никто не мог ответить, в буре многошумной,
Было ль то виденье свыше или сон пустой.
Только женщина из зал веселья, да безумный
Всё стремили руки за исчезнувшей мечтой.
Но и их решительно людские волны смыли,
Как слова ненужные из позабытых строк.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

июль и декабрь 1903

Валерий Брюсов (1873—1924)

* * *

Если это старость — я благословляю
Ласковость ее и кротость,
И задумчивую поступь.
Нет былой обостренности
Мыслей и хотений.
Ночью сон спокойней.
Ближе стали дети,
И врагов не стало.
Смотришь — не желая, помнишь — забывая,
И не замышляешь новых дальних странствий
В бездны и на кручи.
Путь иной, синея, манит неминучий.
И в конце дороги — пелена спадает,
И на перевале — всё былое тает,
И в часы заката — солнце проливает
Золото на землю.
Если это старость — я ее приемлю.

1925, Симферополь

Аделаида Герцык (1874—1925)

* * *

Луна чуть видимая сквозь тумана.
Все очертания будто лгут.
Не скажешь — поздно это или рано,
В цвету деревья или в снегу.

Уйти бы в зыблющиеся просторы,
Вести всю ночь (которая миг)
Воображаемые разговоры
С несуществующими людьми.

Ловить бы скрадываемые звуки,
Неразличаемые слова,
Прохладой веющие струнно руки,
Прикасающиеся едва.

Бродить бы спящею наполовину,
Пока не станет совсем легко,
Растаять яблоновою снежиной,
Глотая лунное молоко.

15 октября 1925

Вера Меркурьева (1876—1943)

Полевые боги[55]

Нас много есть в полях. Мы сторожим межи,
В канавах прячемся, оберегаем нивы...
Кто помнит имена богини Севы, Жнивы,
Олены, Скирдницы, Овсяницы?.. Скажи,
Ты видел ли когда зеленчуков во ржи,
По-человечески кричащих шаловливо?

[55] Из книги «Славянские боги» (1936).

А Деда Житного, бредущего лениво?..
В полдневный летний зной выдь в поле и лежи:
В кустах меж нивами, борясь с дремотой сонной,
И ты увидишь, как тропинкой потаенной,
Склонясь опасливо, колосьями шурша,
Пройдет полудница, так дивно хороша,
Что взор свой оторвать не сможешь ты влюбленный,
И будет тосковать по ней твоя душа.

Александр Кондратьев (1876—1967)

* * *

Ах, всегда звезды качаются —
Не поднимутся никогда.
И пускай деньки маются…
Дни, дни, — динь, динь…

1913

Елена Гуро (1877—1913)

* * *

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль... Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены
И не торопит преходящий миг,
Но пьет так жадно златокудрый лик

Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.
Такие дни под старость дарит осень.

20 ноября 1926, Коктебель

Максимилиан Волошин (1877—1932)

Нищий

В городском саду за рекой,
под каштанами, день-деньской
старый нищий сидел на пне,
всякий раз попадался мне.

Всякий раз минувшей зимой,
через сад проходя домой,
десять су я совал ему
в утешительную суму.

Он был очень убог и тощ, —
на посту и в холод и в дождь,
как заморщенный серый гриб,
к придорожной траве прилип.

Всё о чем-то просил старик,
но в его слова я не вник;
что-то шамкал беззубый рот,
да понять я не мог весь год.

А недавно я мимо брел,

никого в саду не нашел, —
только пень торчал сиротой
над примятой слегка травой.

И с тех пор, уж не первый день,
мне мерещится этот пень,
и на сердце комом тоска.
Видно — я любил старика.

1940

Сергей Маковский (1877—1962)

Больной

Шепоты, шорохи ночи
В бледном сиянье луны.
На воспаленные очи
Не опускаются сны.

Жарко нагрета подушка,
Тело всё в липком поту.
Шамкая, бродит старушка
В призрачно-лунном свету.

«Матушка, ты бы уснула,
Я же не в силах уснуть». —
Муха лампаду задула,
Смерть хочет душу задуть.

«Выпей, родимый, водицы,
В церкви священа она». —
Кто-то, листая страницы,
К печке идет от окна…

«Матушка, кто там читает, —
В белом у печки стоит?!» —
Тяжко старушка вздыхает,
Свечку затеплить спешит.

Вспыхнуло пламя-сердечко,
Кинулись тени в углы;
Выплыла белая печка
Из убегающей мглы, —

Крашеный пол выступает:
Васька, котенок живой,
Шарик бумажный катает,
Сам развлекаясь с собой.

1911

Филарет Чернов (1878—1940)

Ястреб[56]

Не правда ль, милые, как хорошо,
Как славно вечер зимний коротать
Своей семьею в горнице уютной

[56] Из цикла «Идиллии» (1917).

Перед растопленной так ярко печкой,
Где и огонь так шаловливо пляшет,
Как будто рад он свету и теплу?
Да вот и он устал — лишь синеватой
И резвой струйкою по красным углям
Перебегает. Вижу, детвора,
Вам хочется на этих угольках
Испечь себе каштанов. Только вместе
Вы ждете и рассказов от меня —
О том, «как был я маленьким». Ну, ладно:
Ты, дочь моя, давай сюда корзинку,
А ты, мальчишка, ножик принеси;
Каштан ведь каждый надобно надрезать
(Его и взять приятно: круглый, с плоским
Одним бочком и гладенький), — а то
Как хлопнет он и выскочит из печки —
Ожжет, сгорит. Ну вот, угомонились, —
Теперь за дело. А пока о том,
Как был я маленьким, уж расскажу
Вам что-нибудь. Припоминаешь часто
Какой-нибудь житейский малый случай —
И он уж дорог нам; он говорит
О милом невозвратном. И сейчас
Я словно и не вспомню ничего
Помимо ястреба. Какой? Не страшный,
Не настоящий, а бумажный ястреб.
Вы знаете, что мы всегда на лето
В деревню всей семьей переселялись,
От города верстах в семи. Отец мой,
Уехав в город каждый день с утра,

К обеду возвращался. Помню, как
Любили мы встречать его. Как было
Мне радостно особенно — стоять
В саду, в конце аллеи, у плетня,
Облокотиться на него и прямо
Задумчиво, мечтательно глядеть —
Глядеть туда, на пыльную дорогу:
Налево ряд берез столетних; дальше
Идет дорога вдаль меж нив широких
И мне видна до рощи, где, я знаю,
Сворачивает влево. И оттуда
Вот-вот сейчас покажется тележка,
Еще едва чернея. Вот уж виден
И наш гнедой; на козлах — Сидор; дальше
В крылатке белой и в широкополой
Соломенной знакомой белой шляпе —
Отец. Как весело через забор
Махнуть к нему навстречу, и вскочить
В тележку, и доехать до крыльца!
И разве же не вдвое веселей
Встречаться так в день именин твоих?
Ребячья простодушная корысть
Зараньше ждет с открытою душой
Богатой жатвы. Так я раз стоял
И ждал. И вижу — едут. И бегу
Навстречу во весь дух — вскочить, обнять
И целовать его. И вот — но что же
В руках его? И слушаю слова:
«Ну, вот тебе твой ястреб». Не дышу…
— «Я — я просил — я — саблю» — и молчу —

И — в слезы. Правда, что не так-то долго
Я плакал, как его мы разглядели,
И нитку привязали, и пустили —
Не ястреба, а чудо: черно-синий,
С расправленными крыльями, и клювом
Изогнутым, повернутым направо,
И с черным глазом; с крепкими костями
Из палочек и прутиков — вблизи, —
Он снизу издали — живым казался:
Так он ширял могучими крылами
В поднéбесье, что даже мелких пташек
Пугал своим полетом — дальше — выше —
Восторг! И был особенно я весел
В тот день, как бы за слезы в воздаянье,
И где-то там, на самом дне души
Чуть позднее дрожало сожаленье;
Его я замечал ли? А назавтра,
Когда отец, приехав, подал саблю
Мне вожделенную, — я как-то мало
Обрадовался ей. И вдруг — увидел,
Как осторожно он *вчера* за крылья
Держал руками ястреба — и понял,
Что так его держал он всю дорогу…
Конечно, после много веселился
И саблей я, и ястребом. Но всё же
Не мог я долго, долго позабыть
Того раскаянья, и угрызенья,
И к сердцу вдруг прилившей запоздалой
Любви и нежности. И вот теперь,
Когда прошло уж много, много лет,

Когда в мечтах нет сабли жестяной
(Когда и времена переменились,
Так что и он не с прежней неохотой,
Пожалуй, бы мне саблю подарил), —
Я многое, да, многое забыл,
А с тою же любовью помню ясно
И с поздней нежностью — всё эти руки:
Вот — держат за концы широких крыльев
Бумажную синеющую птицу —
Так бережно и осторожно. Тут
И весь рассказ мой. Так нередко в жизни
Едва заметный миг — навечно дорог,
И памятен, и жив, и жизни учит,
И жизненно душой путеводит.
Вот мой рассказ. А между тем, смотрите —
Каштаны уж готовы, испеклись,
И вкусно пахнет жесткая скорлупка.
Заря уж потухает. Вечер тихо
Склонился к ночи. Скоро на покой.

Юрий Верховский (1878—1956)

Колокольчик

Если сердце снов захочет,
ляг в траве, и над тобой,
вдруг заплачет, захохочет
колокольчик голубой.

Если сердце, умирая,

хочет горе позабыть,
колокольчик песни Рая
будет петь не уставая,
будет сказки говорить.

Фиолетовый, лиловый,
темно-синий, голубой,
он поет о жизни новой,
как родник в тени кленовой,
тихо плачет над тобой.

И как в детстве, богомольный
ты заслышишь в полусне
звон призывный, колокольный,
и проснешься в светлой, вольной,
беспечальной стороне.

Сердце спит и сладко плачет,
и, замолкнув в должный срок,
колокольчик тихо спрячет
свой лиловый язычок.

Эллис (Лев Кобылинский, 1879—1947)

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

Александр Блок (1880—1921)

Окраина Петербурга

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят как бельма,
Липкий смрад навис кругом,
За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка обнял нежно
Мокрый столб — и голосит.[57]
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит...

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.

[57] *Чуйка* — здесь петербургский извозчик (чуйка — длинный суконный кафтан).

Из ночной пивной всё лише
Граммофон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвенье!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки заушений...
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой —
Мчится к бедной проститутке
Постовой городовой.

Увели... Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммофон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

1910

Саша Черный (1880—1932)

Больница

Мне видишься опять —

Язвительная, — ты...
Но — не язвительна, а холодна: забыла.
Из немутительной, духовной глубины
Спокойно смотришься во всё, что прежде было.
Я, в мороках
Томясь,
Из мороков любя,
Я — издышавшийся мне подарённым светом,
Я, удушаемый, в далекую тебя, —
Впиваюсь пристально. Ты смотришь с неприветом.
О, этот долгий
Сон:
За окнами закат.
Палата номер шесть, предметов серый ворох,
Больных бессонный стон, больничный мой халат;
И ноющая боль, и мыши юркий шорох.
Метание —
По дням,
По месяцам, годам...
Издроги холода...
Болезни, смерти, голод...
И — бьющий ужасом в тяжелой злости там,
Визжащий в воздухе, дробящий кости молот…
Перемелькала
Жизнь.
Пустой, прохожий рой —
Исчезновением в небытие родное.
Исчезновение, глаза мои закрой
Рукой суровою, рукою ледяною.

январь 1921, Москва. Больница

Андрей Белый (1880—1934)

* * *

Немая ночь. В оцепененьи
Молчит унылый ряд домов,
И замирает в отдаленьи
Звук незнакомых мне шагов…

И странно: сердце грустно бьется,
Те звуки жадно я ловлю,
Как будто кто-то не вернется,
Кого я знаю и люблю.

Виктор Поляков (1881—1906)

Рынок

Д. Н. Кардовскому, на заданную им тему

Здесь груды валенок и кипы кошельков,
И золото зеленое копчушек.
Грибы сушеные, соленье, связки сушек,
И постный запах теплых пирожков.

Я утром солнечным выслушивать готов
Торговый разговор внимательных старушек:
В расчеты тонкие копеек и осьмушек
Так много хитрости затрачено — и слов.

Случайно вызванный на странный поединок,
Я рифму праздную на царскосельский рынок,
Проказницу, — недаром приволок.

Тут гомон целый день стоит, широк и гулок.
В однообразии тупом моих прогулок,
В пустынном городе — веселый уголок.

1911

Василий Комаровский (1881—1914)

На кладбище

«Никита Петрович Гиляров-Платонов
Тогда-то родился, скончался тогда-то».

Ни кроткой лампадки, ни благостных звонов.
Одно неизменно сиянье заката.
Пчела прозвенела над тихой могилой.
В траве одуванчик: живая лампадка.
Гляжу и тоскую о родине милой,
О бедной России, упавшей так гадко.

Вдруг слышу мольбы и глухие проклятья:
Пропившийся, хилый мальчишка-рабочий
К угасшей заре простирает объятья,
Грозит кулаком наступающей ночи.
И, бабьим, родным, вековечным приемом

Вцепившись в него, бормоча ему в ухо,
Пытается мать соблазнить его домом.
О чем ты хлопочешь и плачешь, старуха?
Давно у нас нет ни домов, ни законов,
Запрыгали звезды, и мир закачался.

«Никита Петрович Гиляров-Платонов
Родился тогда-то, тогда-то скончался».

1929

Борис Садовской (1881—1952)

Над Невой

Поздней ночью над Невой
В полосе сторожевой
Взвыла злобная сирена,
Вспыхнул сноп ацетилена.

Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.

Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.

Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.

Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.
Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!

В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.

А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.

Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин,
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,

Или нет?[58]

— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал!
Душу я на керосин
Обменял.

От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал —
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

1920

Вильгельм Зоргенфрей (1882—1938)

* * *

В златотканные дни сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины
Заметает листвой шелестящей,
Распахни узорочье сосны,

[58] Имеется в виду карточная система. Карточки на продукты питания были введены в Российской империи в 1916 г. в связи с продовольственным кризисом, вызванным Первой мировой войной. Эту практику продолжило Временное правительство, установив 29 апреля 1917 г. карточную систему во всех городах, распределяя по карточкам зерно. После Октябрьской революции карточки были опять введены в августе-сентябре 1918 г. Отмена карточной системы произошла в 1921 г. в связи с переходом к Новой экономической политике (НЭПу).

Промелькни за березовой чащей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

1911

Николай Клюев (1884—1937)

Могила

Знаю: есть в этом городе улица,
Улица — радость земная...
Город-могила, скажи:
Где она? где?
Улица светлая, к солнцу прямая...

Знаю: есть в этом городе девушка,

Девушка — греза живая...
Город-могила, скажи:
Где она? где?
Девушка близкая, сердцу родная...

Знаю: есть в этом городе жизнь моя,
Жизнь моя — песнь золотая...
Город-могила, скажи:
Где она? где?..
Жизнь моя вольная, дерзко святая.

1908

Василий Каменский (1884—1967)

Дождевик

Дождик вешний, реденький
Город окропил.
Гнется нищий седенький
На углу без сил.

«Ты куда, откудова,
Старичок, скажи?»
— «С неба белогрудого,
С голубой межи».

«Кто же с неба дальнего
В город попадет?»
— «Не смущай печального!

Видишь — дождь идет».

«А о чем печалится
Дождевик седой?»
— «Скоро ль мук убавится
У земли родной».

1909

Сергей Городецкий (1884—1967)

* * *

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

1912, 1922

Велимир Хлебников (1885—1922)

* * *

Высокая волна тебя несет.
Как будто и не спишь — а снится...
И всё — хрустальное, и хрупкое... И всё
Слегка струится.

О как высок над головой зенит!
Как в дни блаженные, дни райские, дни оны.
И воздух так прозрачен, что звенит
Стеклянным звоном.

И в эти светы, отсветы, свеченья,
И в эти звоны звуковых течений
Ты проплываешь, обворожена,
Сама уже — и свет — и звук — и тишина.

март 1929

София Парнок (1885—1933)[59]

* * *

Лазурью осени прощальной
Я озарен. Не шелохнут
Дубы. Застывший и зеркальный
Деревья отражает пруд.

Ложится утром легкий иней
На побледневшие поля.
Одною светлою пустыней
Простерлись воды и земля.

В лесу неслышно реют тени,
Скудея, льется луч скупой,
И радостен мой путь осенней

[59] Парно́к.

Пустынно блещущей тропой.

1909

Сергей Соловьев (1885—1942)

Пьяный

Бывшим друзьям

Средь ночи, во тьме, я плачу.
Руки в крови...
Волосы, платье — в елочных блестках.
Я болен, я болен — я плачу.
Как много любви!
Как жестко, холодно, в елочных блестках
Шее, телу...
Окно побледнело.
Свет, скажи им — ведь руки в крови —
— Я убил от любви.
Ах — гудок в мозг, в слух мне врезался.
Я пошутил — я обрезался.

1915

Тихон Чурилин (1885—1946)

Заблудившийся трамвай

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
«Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?»

Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная», — знаю, тут

Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.[60]

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,

[60] Отсылка к пушкинской «Капитанской дочке».

И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.[61]

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

1920

Николай Гумилев (1886—1921)

Эйфелева башня

Красит кисточка моя
Эйфелеву башню.
Вспомнил что-то нынче я
Родимую пашню.

Золотится в поле рожь,
Мух не оберешься.
И костей не соберешь,
Если оборвешься.

[61] Отсылка к пушкинскому «Медному всаднику».

А за пашней синий лес,
А за лесом речка.
Возле Бога у небес
Крутится дощечка.

На дощечке я сижу,
Кисточкой играюсь.
Эх, кому я расскажу
И кому признаюсь.

1926

Петр Потемкин (1886—1926)

В горенке

В полутемной, тесной горенке
Шьет швея с утра — весь день.
С ней ребенок — мальчик хворенький,
Бледный, тихенький, как тень.

Он в углу сидит с игрушками,
Но не видит их давно,
И за беленькими мушками
Робко тянется в окно.

Взор туманится слезинкою...
Стук машинки... Мать грустна...
Он растает чистой льдинкою

В дни, когда придет весна.

1907

Александр Тиняков (1886—1934)

* * *

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенснэ или ключи.

1921

Владислав Ходасевич (1886—1939)

* * *

В доме каком-нибудь многоэтажном
Встретить полночь в кругу бесшабашном,
Только б не думать о самом важном,
О самом важном, о самом страшном.
Всё представляя в свете забавном,
Дать волю веселью, и смеху, и шуткам, —
Только б не думать о самом главном,

О самом главном, о самом жутком.

август 1953, Коктебель

Михаил Зенкевич (1886—1973)

* * *

Там ветер сквозной и колючий,
Там стынет в каналах вода,
Там темные, сизые тучи
На небе, как траур, всегда.

Там лица и хмуры, и серы,
Там скупы чужие слова.
О, город жестокий без меры,
С тобой и в тебе я жива.

Я вижу соборов колонны,
Я слышу дыханье реки,
И ветер твой, ветер соленый
Касается влажной щеки.

Отходит обида глухая,
Смолкает застывшая кровь,
И плачет душа, отдыхая,
И хочется, хочется вновь

Туда, вместе с ветром осенним
Прижаться, припасть головой

К знакомым холодным ступеням,
К ступеням над темной Невой.

декабрь 1921

Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева, 1887—1928)

Смерть в Патардзеули

Как раненый в горах питается джейран
Целебною травой, он стал жевать цицмати,
А рядом, выпрямив в последней схватке стан,
Старуха, мать его, лежала на кровати.

Ни запах тления, ни плакальщицы вой
Нисколько не смущал трапе́зы поминальной,
И сорок человек за чашей круговой
Сплоченною семьей сидели беспечально.

Не прах предать земле, не память спеленать,
Новорожденную уже в застольном гуле,
Не друга утешать, утратившего мать,
Мы съехались сюда, в его Патардзеули!

Нет, смерти не было! Был синий небосвод
Да горы за окном. Лишенная регалий
Всей зеленью холмов, всем шумом вешних вод,
Которые смеясь ее опровергали,

Она рассыпалась, как легкая зола,

Преобразилась там, за этой дверью серой,
И, равноправная участница стола,
Ликующей средь нас уселась примаверой.

А отошедшее от матери тепло
С минуту облачком помешкало у входа,
Вернулось в горницу и к сыну перешло,
Неистребимое, как достоянье рода.[62]

1936

Бенедикт Лившиц (1887—1938)

* * *

Высокая стоит луна.
Высокие стоят морозы.
Далекие скрипят обозы.
И кажется, что нам слышна
Архангельская тишина.

Она слышна, — она видна:
В ней всхлипы клюквенной трясины,
В ней хрусты снежной парусины,
В ней тихих крыльев белизна —
Архангельская тишина…

[62] Стихотворение написано в апреле или мае 1936 г. в связи со смертью (28 марта) Софии Николаевны Леонидзе — матери поэта Георгия Леонидзе. *Патардзеули* — село в Кахетии, родина Г. Леонидзе. *Цицмати* (груз.) — трава, подаваемая к столу. *Примавера* (итал.) — весна (в образе прекрасной женщины, в традиции Ренессанса).

1929

Игорь Северянин (1887—1941)

* * *

Запахло вагонной печкой
И углем железнодорожным.
Далекое стало возможным:
Чугунный мост над речкой
С бегущими быстро столбами,
И станция в блеклой раме
Берез и кленов,
И степь за цепью вагонов...
Простор, покой и прохлада.
И сердце беспечно и радо,
В нем нет ни страстей, ни тревоги.
Оно — на свободе, в дороге!

Ноябрь 1921

Самуил Маршак (1887—1964)

* * *

У перекрестка, в выщербленной яме
Белеет тускло лужа молока.
День пасмурный, и низко над домами
Лиловые набухли облака.
Весь город стал замученным и старым,

Из кирпича, столетий и тоски,
И тянутся по липким тротуарам
Неповоротливые старики.
А в переулках — ветра свист и талый
Весенний снег неряшливой межой,
И я — с утра сутулый и усталый
Усталостью своею и чужой.

1932

Константин Симон (1887—1966)

Беспризорный

Просто так… Ну совсем между прочим
Вылез боком из мусорной ямы
Маленький тряпичный Комочек
С человечьими глазами.

Почесался! Огляделся с опаской…
Попрыгал по снегу от холода…
И — покатился колбаской
Но жирному городу.

Страшен город для маленьких ночью!..
Огневая гранитная прорва!
И страшно очень Комочку
И — жрать ему хочется здорово!..

Попытался украсть в первой лавке

Чего нибудь там посытнее…
По приказчики из-за прилавка
Надавали Комочку по шее!..

И, вновь, по морозу оттуда
Покатился Комочек вздыхая…
И долго мотался, покуда —
Не украл кошелька в трамвае!..

И напился Комочек с холоду!
Хоть и горько, а всё же — теплее!..
И грозил спьяну жирному городу
Он за яму и битую шею!..

Докатился Комочек до точки!..
И ждет молча нас всех в своей яме
Маленький тряпичный Комочек
С человечьими глазами.

Николай Агнивцев (1888—1932)

Весна

Зеленой феею пришла
С кошницей, полною цветами,[63]
И пьет из теплого дупла
Березы никлой сок струями.
И смуглый предзагарный мат
В ланитах тонко розовеет,

[63] *Кошница* — (поэт.) корзина.

И колокольчики звенят
В траве упругой веселее.
Рябина, почки раздавив,
Кудряво-пепельные листья
Спустила в дремлющий залив
Реки — сизей и серебристей.
А за стволом рябины сам
Следил за поздней я Весною,
Как луч играл по волосам
Ее прозрачной желтизною
И как, соломинку вновь взяв
По-детски тонкими руками,
Она из хрупких нежных трав
Тянула алыми губами
Блестящий и медовый сок...
И разливалась в теле дрема,
Когда я видел поясок,
Схвативший талию подъема...
Одно движенье: расстегнулся
Он, как запястье, и — упал...
И я негаданно проснулся:
Мне ветер волосы трепал...
Ах, то — лишь греза, — думал я...
Кто разбудил меня так рано?..
И, уж любовь к Весне тая,
Я шел с поляны на поляну,
И всё мне чудилось, что вот
Сейчас, сейчас она вернется!..
Такою девушкой придет,
Что сердце станет — не забьется!..

А в клейких ландыши кустах
О чем-то тихие звонили.
Не о ее ли волосах —
Белей и тоньше тонких лилий?..
Она! Она!..
И я погнался
За тем, кто ею мне казался...
Но в глубь просек меня увлек
Лимоннокрылый мотылек...

1909

Владимир Нарбут (1888—1938)

Лавочка сверчков

Для огорченных старичков,
Для всех, кому живется скучно,
Открою лавочку сверчков
И буду продавать поштучно...

Я долго их тренировал,
Насвистывал за старой печью,
Чтоб каждый пел из них и знал,
Вникая в душу человечью.

Чтоб тонко голосом владел
И в трели приобрел искусство,
И скромный полюбил удел —
Будить померкнувшие чувства.

Воспоминанья оживлять
И, спрятанную берегами,
На заводи тревожить гладь
Вдруг просиявшими кругами.

Ах, даже соловью с сучка
Такие не певать признанья,
Каким я выучил сверчка
За зимы долгие изгнанья.

Что — соловей? Всего лишь — май,
Всего лишь краткое влюбленье,
Всегда невозвращенный рай,
Печаль, тоска и сожаленье...

А мой сверчок — он домовит;
Певец семьи, вещей и крова,
Всего, чем жив мещанский быт,
Что крепко, честно и здорово...

Сверчка купите в декабре.
Он вам споет под голос вьюги
О звонкой тройке на дворе
И возвращении подруги.

Валентин Горянский (1888—1949)

Бабье лето

Нет даже слова такого
В толстых чужих словарях.
Август. Ущерб. Увяданье.
Милый, единственный прах.

Русское лето в России.
Запахи пыльной травы.
Небо какой-то старинной,
Темной, густой синевы.

Утро. Пастушья жалейка.
Поздний и горький волчец.
Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец...

Дон Аминадо (Аминад Шполянский, 1888—1957)

* * *

Майский жук прямо в книгу с разлета упал
На страницу раскрытую — «Домби и сын».
Пожужжал и по-мертвому лапки поджал.
О каком одиночестве Диккенс писал?
Человек никогда не бывает один.

1942

Наталья Крандиевская (1888—1963)

* * *

Весной на проталой полянке,
Где виснет туман пеленой,
Устроили зайцы гулянки
И встречу весны под луной.

И зайцы по-заячьи пели,
Водили за лапки зайчих,
И радостно сосны шумели,
И звезды качались на них.

Всю ночь я бродил всё и слушал.
Ах, друг мой, откроюсь тебе:
За бедную заячью душу
Я так благодарен судьбе.

1921, 1927

Сергей Клычков (1889—1937)

* * *

Последний рубль — дорог,
Последний день — ярок,
Их не отнимет ворог,
Их не отдашь в подарок.

Последняя любовь — самая ласковая,
С сединкою на виске,
И приходит она, ополаскивая

Сердце в горечи и тоске.

И отдашь ее тем, которым
Не нужна ее тишина,
Не нужна ее вышина.
Но душа, овладев простором,
Будет горечи лишена.

Ибо, памяти зов послушав,
Вспомнишь ты, как в былом и сам
Брал и комкал чужие души,
Обращенные к небесам.

Харбин, 1930

Арсений Несмелов (1889—1945)

Желтый Ангел

В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.

Звенят, гудят джаз-баны,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,

Зову их в океаны
И сыплю им в шампанское цветы.

А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным,
Где в испуге даже дети убегают от меня.
Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.

Звенят, гудят джаз-баны,
Танцуют обезьяны
И бешено встречают Рождество,
А я, кривой и пьяный,
Заснул у фортепиано
Под этот дикий гул и торжество.

На башне бьют куранты,
Уходят музыканты,
И елка догорает до конца.
Лакеи тушат свечи,
Давно замолкли речи,
И я уж не могу поднять лица.

И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый Ангел
И сказал: «Маэстро, бедный, Вы устали, Вы больны.
Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго,
Даже в нашем добром небе были все удивлены».

И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи,
Утирая фраком слезы, слезы боли и стыда.
А высоко — в синем небе догорали Божьи свечи

И печальный желтый Ангел тихо таял без следа.

1934, Париж

Александр Вертинский (1889—1957)

Фантасмагория

Н. С. Гончаровой[64]

Летаргией бульварного вальса
усыпленные лица подернув,
в электрическом небе качался
повернувшийся солнечный жернов;
покивали, грустя, манекены
головами на тайные стражи;
опрокинулись тучами стены,
звезды стали, стеная, в витражи;
над тоскующей каменной плотью,
пространемглавив земное круженье,
магистралью на бесповоротье
облаками гремело забвенье;
под бичами крепчающей стужи
коченел бледный знак Фаренгейта,[65]
и безумную песенку ту же

[64] *Гончарова* Наталья Сергеевна (1881—1962) — художница. Иллюстрировала сборники и альманахи русских футуристов. Многие ее работы посвящены современному городу. «Послесловие автора» к сборнику «Ночная флейта» хорошо передает настроение этого стихотворения: «Вы бродили среди электрических крокусов по звенящим магистралям сказочных улиц, и, в синей верьере неба отраженные, сверкнули вам строгие черты: лик Госпожи Большой Метафоры... Но то было лишь отраженье, лишь отзвук Ее дивной мелодии, раздробившейся на шумы и блестки волшебного города. И ты, каждодневно презиравший асфальт, — помнил ли, что и ты герой когда-то услышанной сказки. И нынче вы видели, как в сизом мареве тумана одиноко неслись черные авто, призывая на помощь; как странные существа тщетно старались убежать из оглобель, как стекленели в черной пустоте слова торгашей».
[65] *Знак Фаренгейта* — температура по Фаренгейту.

выводила полночная флейта.

1913

Николай Асеев (1889—1963)

* * *

Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;

Сухо пахнут иммортели[66]
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.

Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка…
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?

январь 1910, Киев

Анна Ахматова (1889—1966)

Зимняя ночь[67]

[66] *Иммортели* — бессмертники, засушенные цветы, не теряющие окраски.
[67] Стихотворение из романа «Доктор Живаго».

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Борис Пастернак (1890—1960)

Трактир в Испании

Ты, уходя, сказал: «Благодарю,
Благодарю за ласку и привет».
И грусть упала на душу мою,
Как снегопад внезапный среди лета.

Но папиросный дым живет еще тобой.
Я в комнате одна. Простая ночь в окне.
Листаю книгу я рассеянной рукой,
И старый сказочник рассказывает мне:

«Любовь, — он говорит, — похожа на трактир
В Испании, а это, друг мой, значит —
В ней можно только то наверняка найти,
Что принесешь с собой…»
И я смеюсь и плачу.

1932

Елизавета Полонская (1890—1969)

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе…

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить -— сон и смерть минуя —
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную.

8 февраля 1937, Воронеж

Осип Мандельштам (1891—1938)

* * *

На рыжеватом глянцевом картоне
Остался я ребенком навсегда, —

Простейшим способом, почти домашним,
Над временем достигнута победа.
Я узнаю себя и вспоминаю,
И провожу по плоскому картону,
Досадуя, что время без объемов
И не за что фигурку обхватить.
Мне пять-шесть лет. О чем тогда я думал? —
Мудреного, наверно, ничего.
Но этот мальчик — я. Я — весь отсюда.
Фотограф долго двигал свой треножник,
Потом меня зажал понеудобней
В суконные тиски колен отцовских,
Заманивая всеми чудесами.
Спокойненько, на стеклышко смотри,
Моргнет, и выпорхнет оттуда птичка.
Ну, — раздватри… —
Фотограф стеклышко свое заставил,
Сняв колпачок, раскланяться со мной
И снова крышку на стекло напялил.
А я стоял «спокойненько» и просто,
Сосредоточенно и грустновато, —
И не сказал: — А почему без птички? —

1925

Сергей Нельдихен (1891—1942)[68]

* * *

[68] Не́льдихен.

Не то, что мир во зле лежит, — не так,
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Всё сумерки, — а не огонь и мрак,
Всё дождичек, — не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, —
Ты просто нам всю правду показал
И всё пронзил тоской и скукой.

до 1937

Елизавета Кузьмина-Караваева (1891—1945)

* * *

Петербуржанке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой.
Знаю — будут любить мои дети невский седобородый вал, оттого, что был западный ветер, когда ты меня целовал.

1921

Мария Шкапская (1891—1952)

Двойник

Весенний ливень неумелый,
От частых молний днем темно,
И облака сирени белой

Влетают с грохотом в окно.

Земля расколота снаружи,
Сосредоточена внутри, —
Танцуют в темно-синей луже
И лопаются пузыри.

И вдруг, законы нарушая,
Один из них растет, растет,
И аркой радуга большая
Внутри его уже цветет.

Освобождаясь понемногу
От вязкой почвы и воды,
Он выплывает на дорогу,
Плывет в бурлящие сады.

И на корме его высокой
Под флагом трепетным возник
Виденьем светлым иль морокой
Мой неопознанный двойник.

Я рвусь к нему, но он не слышит,
Что я вослед ему кричу, —
Над ним сирень как море дышит,
В своих волнах его колышет
И влажно хлещет по плечу.

1944

Владимир Корвин-Пиотровский (1891—1966)

* * *

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Между октябрем и декабрем 1943

Илья Эренбург (1891—1967)

* * *

Помню войну, что шумела когда-то.
Шли за Россию полки умирать.
Рава, Гумбинен, Варшава, Карпаты.
После далёко пришлось отступать.

Тяжкое помню прощание с Крымом,
Всё расставанье с родною землей,
И пароходов тяжелые дымы
Над голубой черноморской водой.

Константинополь... Завод под Парижем.

Время махнуло мне быстрым крылом.
Сильные плечи склоняются ниже...
Может быть, лучше молчать о своем.

Что же сказать? И кому это нужно.
Нечем хвалиться пред вами, друзья.
Всё ж драгоценною нитью жемчужной
Жизнь протянулась куда-то моя.

Николай Евсеев (1891—1974)

Глухомань

Впереди и за плечами
Только небо, только звезды,
Только листья, только воздух,
Только тишина ночная.

Мнится мне, что в океане
Растекающейся зелени
То плыву я, то ныряю
И тревожно и уверенно.

Где же люди? Где шаги их?
Где знакомый звон трамваев?
Подмосковье иль Египет
Мне созвездьями кивает?

Вижу только эту зелень,
Покорившую пространство,

Словно перевоплощенье
Слов в зеленое убранство.

Плыть бы век, как в древней сказке,
По раскинувшейся зелени
Ею найденным, обласканным,
А для всех других потерянным.

июль 1966, Москва

Рюрик Ивнев (1891—1981)

* * *

Мой день беспутен и нелеп:
У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность,

В иголку продеваю — луч,
Грабителю вручаю — ключ,
Белилами румяню бледность.

Мне нищий хлеба не дает,
Богатый денег не берет,
Луч не вдевается в иголку,

Грабитель входит без ключа,
А дура плачет в три ручья —
Над днем без славы и без толку.

27 июля 1918

Марина Цветаева (1892—1941)

* * *

Душа, в небесном тюле на канате
давно ты пляшешь в тесных башмачках.
Ах, не пришлось бы деве на закате
в конце смотрин остаться в дурачках!

Среди ларьков, гостинцы покупая,
они бредут, не давши ни гроша,
о, за твое, голубка голубая,
почти что неземное антраша!

Но леденеет шнур. Зима обманет,
и упадешь ты елкой в декабре.
Гулянье только мимоходом глянет
на кости, рухнувшие в мишуре.

Анна Присманова (1892—1960)

* * *

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

1924

Георгий Адамович (1892—1972)

* * *

По утрам читаю Гомера —
И взлетает мяч Навзикаи,
И синеют верхушки деревьев
Над скалистым берегом моря,
Над кремнистой узкой дорогой,
Над движеньями смуглых рук.

А потом выхожу я в город,
Где, звеня, пролетают трамваи,
И вдоль клумб Люксембургского сада
Не спеша и бесцельно иду.
Есть в такие минуты чувство
Одиночества и покоя,
Созерцания и тишины.
Солнце, зелень, высокое небо,
От жары колеблется воздух,
И как будто бы всё свершилось
На земле, и лишь по привычке
Люди движутся, любят, верят,

Ждут чего-то, хотят утешенья,
И не знают, что главное — было,
Что давно уж Архангел Божий
Над часами каменной башни
Опустился — и вылилась чаша
Прошлых, будущих и небывших
Слез, вражды, обид и страстей,
Дел жестоких и милосердных,
И таких же, на полуслове,
Словно плеск в глубоком колодце,
Обрывающихся стихов…

Полдень. Время остановилось.
Солнце жжет, волны бьются о берег.
Где теперь ты живешь, Навзикая? —
Мяч твой катится по траве.

Юрий Терапиано (1892—1980)

Постный рынок

Между кровель и труб одинокий Василий Блаженный
В стаях мартовских птиц, в тишине предвечерних снежинок
И, как был до Петра, на реке, под стеною смиренной
Постный торг, православный, с татарской сумятицей, рынок.
Смесь полозьев и дуг, рукавиц, и прилавков и лавок;
Конь косматый жует, по глаза в мешковине с овсом;
Изобилует снедями ряд, склизок, солон и сладок;
Горстью грузди гребут; коченеют навага и сом.
Носят квас; постный сахар пестреет, — вкусней апельсинный,

Белый пахнет синильной отравой; сочится халва.
Почему-то в толпе с полушубками, нёсшими псиной,
Груды всяких сластей покупала б охотней Москва.
Вспоминаю еще: в коробóчках белёсых из драни
Духовитый до одури зимний крупичатый мед.
Вот и бродишь средь луж в этом синем московском тумане,
Воробьи под ногами клюют лошадиный помет.
Из соломы чернеют горшки, обливные посудки,
Там — из липы ковши — эти точат внарок для поста —
В них я ставил потом голубые как день незабудки,
Что с рассыльным не раз присылала мне чья-то мечта.
Возвращались — и вечер кончался нельзя беззаботней,
Как обычно у нас завершались тогда вечера:
Чай в семейном кругу, звон от всенощной, вешний, субботний,
Легкой юности сон и любовные сны до утра.

Сергей Шервинский (1892—1991)

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как

выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»

А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Владимир Маяковский (1893—1930)

* * *[69]

День кончен. Ладья у причала.
Полосками — сизой и алой —
К веслу прильнула заря.
Порхая с дымком на повети,[70]
Играет осенний ветер
Кустарный марш снегиря.

Графин на столе и тарелки —
В глубокой максун,[71] а на мелкой
Морошка янтарною грудой бус.
Сияя улыбкой раскосой,
Московской дымит папиросой
Янтарный, как отсвет морошки, тунгус.

Тайга за околицей воет.

[69] Стихотворение написано в сибирской ссылке.
[70] *Поветь* — помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.
[71] *Максун* — рыба семейства лососёвых.

Вздымая косматую хвою,
К воротам бежит тайга.
И в сумерках северных снится
Олень — слюдяные копытца,
Олень — золотые рога.

29 января 1930

Иван Грузинов (1893—1942)

* * *

Вот она идет со мною рядом,
Девушка с «Онегиным» в руке.
Мы заброшенным спустились садом,
Мы выходим к дремлющей реке,
Растянулись на ковре весеннем,
Оба в золоте и синеве,
И пока презрительный Евгений
Возле нас скучает на траве,
А вокруг крылатым аллилуйя
Тополя и яблони звучат —
Родинку лукавую целую,
Ту, что возле правого плеча.

Миновалось всё, переменилось,
Дразнит лишь порой издалека,
И одна бессмертной сохранилась
Пушкинская легкая строка.
Та, что в то сияющее утро,

Той неповторимою весной,
Не нужна была совсем как будто,
А теперь — одна еще со мной.

1953

Дмитрий Кленовский (1893—1976)

Два сувенира

Владимиру Смоленскому

Иссохший, легкий, с бронзовою кожей
Он мал и тверд, но это — апельсин.
В моем саду он рос и зрел один,
На золотое яблочко похожий.

Куст был покрыт цветами для невест —
Цветами подвенечного убора,[72]
Но лишь один дал плод, — другие скоро
Осыпались, развеялись окрест.

Храню его, а он благоуханье
Свое хранит, свой горький аромат;
Встряхнешь его — в нем семена стучат
И будят о другом воспоминанье, —

И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице

[72] Имеется в виду флёрдора́нж (фр. *fleur d'orange* — «цветок апельсина») — белоснежные цветки померанцевого дерева (семейства Цитрусовые). Померанцевый цветок — традиционная часть свадебного убора невесты, например, в виде венка или же свадебного букета.

У няни, и мелькающие спицы
В ее руках, и доброе лицо.

— Со мной им похристосовался Гриша,
Мой суженый, — начнет она рассказ,
И снова я, уже не в первый раз,
О Грише, женихе погибшем, слышу.

Война, набор, жених уйдет в поход
И никогда к невесте не вернется...
Туг няня вдруг вздохнет и улыбнется
И, взяв яйцо, над ухом мне встряхнет.

В сухом яйце постукивает что-то.
— Кто в нем живет? — спрошу я, чуть дыша,
И няня скажет: — Гришина душа! —
И вновь яйцо положит у киота.

Василий Сумбатов (1893—1977)

Деревенская старина

Была деревня за лесом.
Жили крестьяне за лесом.
Стадо мычало за лесом.
Пели свирели за лесом.
Землю пахали за лесом.
Сеяли, жали за лесом.
Рожь увозили за лесом.
Рожь молотили за лесом.

Девушки пели за лесом.
Парни гуляли за лесом.
Пиво варили за лесом.
Весело было за лесом.

1945

Евгений Кропивницкий (1893—1979)

Жизнь

Мне шесть, а ей под шестьдесят. В наколке;
Седые букли; душные духи;
Отлив лампад на шоколадном шелке
И в памяти далекие грехи.
Она Золя читала и Ренана,
Она видала всякую любовь,
Она Париж вдыхала неустанно
И в Монте-Карло горячила кровь.
Она таит в своем ларце старинном
Сухие розы, письма, дневники;
Она могла бы объяснить мужчинам
Все линии несытой их руки.
Всезнающей, загадочной, упрямой,
Она заглядывает мне в глаза,
Из книг возникнув Пиковою Дамой,
Суля семерку, тройку и туза…

Мне двадцать лет, а ей, должно быть, сорок.
Он вял слегка — атлас и персик плеч,

И перси дышат из брюссельских сборок,
Маня юнца щекою к ним прилечь.
Как сладко будет овладеть такою —
Порочною, подклеванной вдовой:
Жизнь надо брать с холодной головою,
Пока она — с горячей головой.
Она за дерзость будет благодарной,
Под пальцы ляжет — нежной глины пласт, —
Она мундштук подарит мне янтарный
И том стихов на ватмане издаст.
Она раскроет деловые связи,
Она покажет в полутьме кулис
Все тайны грима, все соблазны грязи,
Все выверты министров и актрис.
Она уже не кажется загадкой,
Хоть жадный взор стыдливо клонит ниц...
Мне тоже стыдно, и гляжу украдкой
На трепеты подстреленных ресниц...

Мне тридцать семь, ей двадцать два едва ли.
Она резва, заносчива и зла,
Она с другим смеется в бальной зале,
С другим к вину садится у стола.
Всё ясно в ней — от похоти до страхов,
Хотя он лжет — лукавый свежий рот,
И никель глаз среди ресничных взмахов
Мое же отраженье подает.
Не упустить задорную беглянку!
Девчонка! Ей ли обмануть меня?
Билет в балет, духов парижских склянку —

И льнет ко мне, чуть голову клоня.
Но горько знаешь этот пыл условный
И медлишь, и томишься, и грустишь,
И ей в глаза как в кодекс уголовный
В минуты пауз трепетно глядишь...

Мне пятьдесят, а ей, пожалуй, девять.
Худа, и малокровна, и робка.
В ней спит болезнь — ее боюсь прогневить:
Столь сини жилки в лепестке виска.
О, девочка! О, дочь моя больная!
На солнце, к морю, в Ялту бы, в Сухум!
Она всё та ж, но каждый день иная:
Она слабеет, и слабеет ум.
Учить ее? Читать ли ей баллады?
Играть ли с нею в хальму и в лото?[73]
Таясь, ловлю испуганные взгляды,
В которых мглою проступает — *То!*

Мне шестьдесят. И вот она — младенец.
К ней в колыбели жмется дифтерит,
И сверстников моих и современниц
Кружок последний на нее глядит.
Поднять ее, зажать ее в ладони,
От старости холодные как лед:
Быть может, ужас, за душой в погоне,
Как жар, хоть на полградуса спадет?
Но нет: хрипит!.. Стою бессильным дедом:

[73] *Хальма* — настольная игра для двух игроков, придуманная в 1883-ом (или 1884-ом) году Джорджем Ховардом Монксом. Вариант этой игры известен в России, как "Уголки".

Как ей помочь? Как вдунуть воздух в грудь?
А Черный Ветер, страшен и неведом,
Уже летит в ней искорку задуть...

23 июля 1943

Георгий Шенгели (1894—1956)

* * *

По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафэ сидим,
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера́ взорвать?
Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться...

Георгий Иванов (1894—1958)

* * *

Раскачивается пакет,
И зонтик матовый раскрыт…
Довольно бережно одет,
Он не особенно спешит.

Поспешно семенит за ним

Невзрачный, сгорбленный, в очках,
Подальше с кем-то молодым
На очень острых каблучках

Проходит женщина. За ней
Какой-то розовый солдат.
И целый день, и сотни дней,
И тысячи, вперед, назад

Идут бок о бок или врозь
Не те, так эти, где пришлось…

Ни человека, ни людей
(Живые, да, но кто и что?),
А сколько жестов и вещей,
Ужимок, зонтиков, пальто.

1924—1926

Николай Оцуп (1894—1958)[74]

* * *

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,

[74] Óцуп.

Конь мой — мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив златую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

1917

Сергей Есенин (1895—1925)

Птицелов

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный,
И звенит манок бузинный, —
Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1918, 1926

Эдуард Багрицкий (1895—1934)

* * *

Как много в мире есть простого
обычным утром в пол-шестого!
Бог, этот страшный Бог ночной,
стал как голубь, совсем ручной:
принимает пищу из нашей руки,
будто бывать не бывало былой тоски.
Тикают ходики так умильно,
кушая завтрак свой простой, но обильный.
Для еды, правда, еще рановато —
не везде убралась туманная вата,
и трава вся в слезах (твои ли ноги
шли вчера по ней без меня, без дороги?),
и восходит всюду, справа и слева,
то, что всходить должно: солнце и посевы —
и такая свежесть, и так всё просто,
будто мы считать умеем всего лишь до́ ста.

1947—1955

Андрей Николев (Андрей Егунов, 1895—1968)

Бессмыслица

Я начал жить в бессмыслицу войны,
Едва лишь возмужал, расправил плечи.
Как будто для того мы рождены,
Чтобы себя и всех кругом калечить!

Вагон товарный заменял нам дом,

Минуты перемирий — полустанки,
Чтобы успеть сходить за кипятком,
Съесть корку хлеба, просушить портянки...

Любовь, роняя угольки тепла,
Дымила, тлела... и не разгоралась.
Вслед за войной война другая шла...
Жизнь кончилась. Бессмыслица осталась.

Александр Перфильев (1895—1973)

Нет

Четыреста мостиков и мостов[75]
Со ступеньками вверх и вниз.
Я по ним до утра ходить готов,
К ним спешу и лечу — зовет их зов —
Как лунатик на свой карниз.

А под ними чуть слышный зыбкий плеск,
Потускневших огней неверный блеск,
Исчерна зеленая муть,
Где мерещится мне затонувший лес
Кораблей, потерявших путь.

Хворый говор домов, воркованье веков,
Перебор приглушенный — слышь:
Порча пудреных париков,
Червоточина челноков,

[75] В Венеции.

Пришепетывающая тишь.

Разговор-перебор, перегар, — пустоцвет
Нескончаемых прошлых лет,
Суховей пролетевших дней.
Нет, нет, нет. Нет в домах людей,
Нет на площади голубей,

И не я, тень моя
С мостика на мост
До предутренних звезд —
По ступенькам скользит,

Вдоль каналов летит...
Нет.
Нет меня. Нет меня.
Нет.

Владимир Вейдле (1895—1979)

Снежная церковь

Зима и зодчий строили так дружно,
Что не поймешь, где снег и где стена,
И скромно облачилась ризой вьюжной
Господня церковь — бедная жена.

И спит она средь белого погоста,
Блестит стекло бесхитростной слюдой,
И даже золото на ней так просто,

Как нитка бус на бабе молодой.

Запела медь, и немота и нега
Вдруг отряхнули набожный свой сон,
И кажется, что это — голос снега,
Растаявшего в колокольный звон.

март 1918

Леонид Каннегисер (1896—1918)

Отдых
(от 6 до 7 часов вечера)

Спокойный, ясный тихий час —
тишайший алексей —[76]
струись и лейся и, лучась,
страну и сон рассей.

От облюбованных отплыв,
от легких облаков,
приподыми настоем мглы
покоя молоко.

Имею право.
Отдыхай
в прохладе, голова,
и зрей мой край на лопухах,

[76] Прозвище «Тишайший» носил второй русский царь из династии Романовых — Алексей Михайлович (правил с 1645 по 1676 год).

черствей как каравай.

Ты будешь черствый,
и к утру
уйду несыт и сир,
остатки мира с губ сотру
лоскутьями Россий.

Смиряй, лучись и залучай,
тишайший алексей,
посей мне душу, тихий час,
и тишину посей.

15 июня 1920, 7 час. вечера, Москва

Сергей Буданцев (1896—1940)

Летний сонет

Там голоса детей из чащи звали.
Свет солнечный над далью луговой
И темный запах монастырских хвой,
Которые приветно нам кивали.

Когда он был — сегодня ли, вчера ли —
Сей полдень, томный и береговой,
И летний, загорелый облик твой,
Воскресший из российской пасторали?

Но оглянись: уже вокруг не то.

Окно в слезах, осеннее пальто
И смуглая увяла земляника.

И стынет омраченная река.
Лишь в памяти звучит издалека:
Натуся, Коля, Сашенька и Ника.

8 октября 1927

Дмитрий Усов (1896—1943)

В трамвае

Глядят не злобно и не кротко,
Заняв трамвайные места,
Старуха — круглая сиротка,
Худая баба — сирота.

Старик, окостеневший мальчик,
Всё потерявший с той поры,
Когда играл он в твердый мячик
Средь мертвой ныне детворы.

Грудной ребенок, пьяный в доску,
О крови, о боях ревет,
Протезом черным ищет соску
Да мать зовет, всё мать зовет.

Не слышит мать. Кругом косится,
Молчит кругом народ чужой.

Все думают, что он бранится.
Да нет! Он просится! Домой!

Увы! Позаросла дорога,
И к маме не найти пути.
Кондуктор объявляет строго,
Что Парки только впереди.

А рельсы, добрые созданья,
На закруглениях визжат:
— Зачем не видимы страданья?
Зачем на рельсах не лежат?

Тогда бы целые бригады
Явились чистить, убирать,
И нам, железным, от надсады
Не надо было бы орать.

29 июля 1945

Евгений Шварц (1896—1958)

Нумизматика

Памяти В. В. Розанова[77]

Бесцветный, понурый и хилый
День еле плетется за днем.
Василий Васильевич, милый,

[77] Философ и писатель В. В. Розанов (1856—1919) был страстным нумизматом. Его коллекция, хранящаяся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, насчитывает 1497 монет.

Давайте, старинкой тряхнем!

От жизни ухабов и кочек
Нам тяжко на старости лет;
Так где же заветный мешочек
С коллекцией древних монет?

Да, знаю, погрязли в грехах мы,
Но поздно грехи нам считать...
Вот лупа; оболы и драхмы
Любовно просмотрим опять.

Ведь будет над чем умилиться;
Уж блещет заранее взгляд:
Богов и богинь вереница
И профилей царственный ряд!

Тиверия иль Митридата
Лаская мизинцем черты,
На час или два, как когда-то,
От пошлой уйдем суеты.

Слегка зеленеет патина
На бронзе, и надпись видна.
Возможно ли? — Dira Plotina!
Ах, Боже! Конечно, она!

Пусть наша судьба вероломна,
Пусть жизнь — надоевший обман...
Так где же вы, Юлия Домна,

Октавия, Нерва, Траян?

Авось от житейских аварий,
От старых и горьких обид,
Магический римский денарий
Таинственно нас исцелит.

О, если бы в узенькой клетке
Душа отдохнула от мук!
Давайте ж просмотрим монетки,
Василий Васильевич, друг!

Павел Лыжин (1896—1969)

Двойники

С полумесяцем турецким наверху
Ночь старинна, как перина на пуху.

Черный снег летает рядом тише сов.
Циферблаты электрических часов

Расцвели на лысых клумбах площадей.
Время дремлет и не гонит лошадей.

По Арбату столько раз гулял глупец.
Он не знает, кто он — книга или чтец.

Он не знает, это он или не он:
Чудаков таких же точно миллион.

Двойники его плодятся как хотят.
Их не меньше, чем утопленных котят.

1975

Павел Антокольский (1896—1978)

Электрические сумерки

В электрические сумерки дали улиц зачарованы,
Фонари устало светятся, к мостовым своим прикованы,
Красноглазые автобусы с тишиной перекликаются,
И деревья в платья лунные лунным светом облекаются.

Что-то в сумерках таинственно. И прохожие медлительны,
И глаза у них безумные, и улыбки их томительны.
Я не знаю. Мне так кажется. Но колдует вечер матовый.
Отчего-то улыбается месяц гордый и гранатовый.

В электрические сумерки эти звоны отдаленные,
Эти шумы беспокойные, блеском улиц утомленные,
В чутком сердце отражаются, томным облаком колышутся...
Поцелуйные и нежные, чьи-то речи сердцу слышатся.

1915

Анатолий Фиолетов (1997—1918)

* * *

Сказка, присказка, быль,
Небыль.
Не знаю... Неугомонные
Тильтиль и Митиль —[78]
Ищем любовь: «Там, там — вон
На верхушках осин, сосен!»
А она, небось,
Красноперая
Давным-давно улетела в озера
Далекого неба.

1918

Анатолий Мариенгоф (1897—1962)

* * *

Небо мое звездное,
От тебя уйду ль? —
Черное, морозное,
С дырами от пуль.

1916

Валентин Катаев (1897—1986)

Таракан

Таракан попался в стакан.

[78] *Тильтиль и Митиль* — брат и сестра, персонажи пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» (1908).

Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.[79]

У стола лекпом хлопочет,[80]
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».[81]

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

---

[79] *Вивисектор* — специалист, занимающейся вивисекцией, т. е. живосечением (от лат. *vivus* — живой и *sectio* — рассекание) — проведением хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма.
[80] *Лекпом* — лекарский помощник, или помощник врача.
[81] «*Тройка удалая*» — подразумевается песня «Вот мчится тройка удалая» (муз. А. Верстовского, сл. Ф. Глинки).

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Против выводов науки
Невозможно устоять.

Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,

Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.
И, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью.

Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.
И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.

Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.

От увечий и от ран
Помирает таракан.
Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат...

Тут опомнились злодеи
И попятились назад.
Всё в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.

И подпочвенные воды
Вытекают из него.
Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,

Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,[82]
Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,

[82] *Безобразный, волосатый* — ср. реплику Павла Петровича о «вивисекторе» Базарове в «Отцах и детях» И. Тургенева: «— Кто сей? — спросил Павел Петрович.
— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.
— Он у нас гостить будет?
— Да.
— Этот волосатый?
— Ну да».

Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.

Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.

1934

Николай Олейников (1898—1937)

* * *

Эти строки, статься может,
Никого не потревожат.
Ночь январская нема,
На ключ заперты дома.

Этим строкам, может статься,
Вовсе не к кому стучаться.
День у всякого забит,
Ночью всякий крепко спит.

Нежный вечер, влажный вечер,
Фонари видны далече,
Снег играет голубой,
Ходят тени над Москвой.
Бог с тобой.

1927

Александр Ромм (1898—1943)

Memento mori[83]

Бедный, дрожащий зверек,
Раненный выстрелом,
Плохо себя ты сберег:
Доли не выстроил.

Лапы и хвост поджимал,
Морщился ласково,
Скраивал свой идеал
Начерно, наскоро.

Сердцем не бейся в судьбу:
Накрепко заперто.

[83] Помни о смерти (лат.).

Сперло дыханье в зобу
Чуть ли не замертво.

Болью предсмертных потуг
Жил не надсаживай:
Видно, не нам с тобой, друг,
Встретиться заживо.

Что-то в нежданной судьбе
Вышло навыворот,
Раз не мелькнуло тебе
Верного выбора.

Кровью исходишь? скулишь,
Жмурясь на извергов,
Тепленький, серый малыш?..
Сиверко, сиверко![84]

Ноги дрожат и ползут,
Потные, мокрые,
Бегом последних минут
Стертые до крови.

Словно в заветном рывке
С силой рванулись и...
Всё повторяют пике
Смертной конвульсии.

Трепетом самых основ

[84] *Сиверко* — холодный северный ветер.

Двинуто под руку:
Скоро тягучий озноб
Влезет до потроху.

Жизнь, что была не полна —
Отмель на отмели! —
Им-то хоть и не нужна, —
Взяли да отняли.

Ихнего права не трожь
Писком: «а где ж оно?»
Что-то ты дуба даешь
Медленно, мешкотно.

Слабостям, черт подери,
Место не в очерке!
Жалостный тон убери,
Брось разговорчики!

Чтоб у злодеев (тьфу, тьфу!)
Слезы не падали
В каждую эту строфу
Из-за падали.

март 1947

Георгий Оболдуев (1898—1954)

* * *

В. В. Дроздович

Зеркальный вечер лежит на водáх,
На дымно-розовых облаках.
По глади стеклянных вечерних вод
Отраженный поезд идет.

Другой по рельсам грохочет над ним.
Там люди сидят с багажом своим
И в будущий день из былой колеи
Перевозят надежды свои.

Колеса стучат, и дети кричат,
Плывет над насыпью угольный чад,
И право на будущий подвиг и грех
Проверяет кондуктор у всех.

А поезд-призрак бесшумен и пуст,
В нем воспоминаний невидимый груз.
Идет он в потерянную страну,
За черту, в мечту, в глубину.

Мне с шумным поездом не по пути,
Того, что мне дорого, в нем не найти.
Но тихо войду я, как входят в сон,
В отраженный последний вагон.

1950

Вера Булич (1898—1955)

* * *

Невиданные вещи — облака!
Всё небо в них, и солнцу жить не тесно.
Так смять материю могла чудесно
Лишь легкая воздушная рука.

А так листву развесить, чтоб сучка
Ни одного не пропустить, так честно
Лист каждый выписать, что было б лестно
И нам, — здесь виден опыт старика.

Безвестный мастер мощный и великий
Бросает кистью трепетные блики
На мертвый грунт и жизнь дает всему,

Что движется от ветра, и в сплетеньи
Лучей, живому свойственных письму,
Стремится к улыбающейся тени.

25 июля 1947

Григорий Ширман (1898—1956)

* * *

Так бывает: шел и очутился
В переулке том, где ты родился;
Каждая горбинка в нем знакома.
Дальше! — и сильнее пульс забился:

Вот!.. Но дома нет, где ты родился,
А остался только номер дома.

1954

Владимир Нейштадт (1898—1959)

* * *

«Христос Воскрес. Христос Воскрес», —
В церквах народ поет…
Всё ожило — поля и лес,
Но умирает лед…

Борис Божнев (1898—1969)

Осень людей

Скрипнула дверь,
Звоночек лизнул язычком,
По дождливой, пространной улице
В магазин покупатель сутулится.
Хочет купить чернильной
Ночи портфель объемистый, важный,
Для этого — в писчебумажный.
Писчебумажный! Радужный!
Едва покупатель вошел —
Наитье оживших сказок
Его захлестнуло. Шелк
Утешительных воспоминаний

Малых лет, рай вещей.
Покупатель боролся, двигал
Неприступной бровью своей:
— «Дайте чернил Леонарда!
(Сам ждет Леонардовой тьмы.)
Дайте мне порт крокодиловый —
Портфель морской глубины.
Тьфу ты! Портфель кожаный».
Покупатель даже вспотел.
Автобус на улице хрюкнул,
Подбирая овощи тел.
Извозчик гоголевской скорбью
Нахохлился за стеклом.
Шли по тротуару
Люди вслед за дождем.
Выпукло электричество
Освещало румянец игрушек,
Серебряные завитушки
Хвостатых безделушек.
Ухватистые обезьяны,
Висячие шары
Напряжение создавали
Какой-то нездешней жары.
Сам из путешественной книжки,
Покупатель склонил силуэт
Задумчиво над пушистым
Сосредоточенным мишкой.
Полуглухой хозяин,
Его жена, недовольная всеми,
Замедленность оборвали

Затянувшейся темы:
«Гражданин, вот портфели,
цена 18 рублей».
Дохнула в лицо покупателю
Безысходная осень людей.
Так явственно ощутилось:
Тело, пальто, тоска,
Прошлогоднее сегодня,
Осевшая в сумрак Москва…

Ольга Мочалова (1998—1978)

Южная зима[85]

Как ночь бессонную зима напоминает,
И лица желтые, несвежие глаза.
И солнца луч природу обольщает,
Как незаслуженный и лучезарный взгляд.

Среди пытающихся распуститься,
Средь почек обреченных он блуждал,
Сочувствие к обманутым растеньям
Надулось в нем, как парус, возросло.

А дикая зима всё продолжалась, —
То падал снег, то дождь, как из ведра,
То солнце принуждало распускаться,
А под окном — шакалы до утра.

[85] В Крыму, где поэт безуспешно лечился от туберкулеза.

Здесь пели женщиной, там плакали ребенком,
Вдруг выли почерневшею вдовой,
И псы бездомные со всех сторон бежали
И возносили лай сторожевой.

Как ночь бессонную зима напоминает —
Камелии стоят, фонарь слезу роняет.

1933

Константин Вагинов (1899—1934)

* * *

Гуляет с зажженною свечкой весна,
От ветра огонь закрывая ладонью.
Великий четверг… Тишина… тишина…
Последних кадил благовонье.

Великий четверг… Я свечу донесу,
Я душу мою золотую спасу
От черного ветра стихии…

А в небе весна разжимает ладонь
И ставит свечи сбереженный огонь
К престолу Марии.

1929

Мария Вега (1898—1980)

* * *

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Вас не взять, не спрятать, не прогнать.
Надо жить — не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.

Не идти ведь по́ снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.

Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

февраль 1932

Раиса Блох (1899—1943)

* * *

Удалось однажды родиться.

Обещали: жизнь впереди.

От надежд голова кружится.

Сколько силы в плечах, груди.

Вот и юность. — Теперь уже скоро.

Вот и старость. — Где же? Когда?

За окном: решетка забора,

Телефонные провода.

Это всё? — Конечно, до гроба.

Это жизнь? — А что же? — Она.

Значит, это лишь так, для пробы.

Значит, будет еще одна.

Карл Гершельман (1899—1951)

В Сокольниках[86]

[86] Стихотворение написано в казахстанской ссылке (в которую Кугушева отправилась добровольно — вместе с высланным туда мужем — немцем по национальности).
Муж Наталии Кугушевой (бывшей княжны Кугушевой), Гвидо Гаврилович (Габриэлевич) Бартель был немец, поэтому летом 1941-го (после начала войны) подлежал немедленной высылке в Казахстан. Кугушева отправилась в ссылку с мужем. Они оказались в поселке № 9 в 127 километрах от Караганды. 5 января 1942 года Карагандинское НКВД арестовывает Гвидо. К середине 1942 года, когда стало понятно, что Бартель не вернется (он был осужден на 10 лет ИТЛ 17 июня 1942 года и погиб в заключении в мае 43-го, о чем Кугушева узнала лишь три года спустя) она стала искать возможности вернуться в Москву. Формально этому ничего не должно было препятствовать, поскольку она последовала за мужем в ссылку добровольно, но для советской бюрократической машины этот случай оказался беспрецедентным: несмотря на исхлопотанные в Москве вызовы, невзирая на согласие ее ближайшей родственницы на прописку в Москве, этот дьявольский механизм не мог вместить возможности человеческих чувств — и она осталась в Казахстане на четырнадцать лет. Условия, в которых ей приходилось существовать, настолько чудовищны, что могли бы показаться вымыслом. «В декабре прошлого года я смалодушествовала и чуть-чуть не отправилась к праотцам. Но у меня так сгустились обстоятельства, что я не могла себя преодолеть — жила впятером в хате с 4 чеченцами, вшивыми, грязными, они у меня все воровали, по стенам лазили мокрицы, а хата была без двери (в декабре), тут же любовные неурядицы <…>, а вся хата с носовой платок, а в дверях стояла корова, для того, чтобы в хату войти нужно было, — буквально, — лезть под хвост корове… Вот я и сдрейфила. Теперь держу себя в руках, крепко держу, да и мои оккультные убеждения сыграли огромную живительную роль. Точно свет открылся. «Свет на пути». Была неделю в больнице, насилу меня спасли. Всю ночь спасали» (22 августа 1947 года)». (Комментарий взят из послесловия Александра Соболева к книге: Наталия Кугушева. Проржавленные дни).

Легчайший звон и пенье листопада,
И листья кружатся в аллеях золотых.
Брожу, вдыхаю горькую прохладу;
Чуть грустно мне, но ничего не надо
От этих дней прозрачных и простых.

Смотрю, как тихо облетают клены —
Огромных бабочек багровый хоровод,
Березы стряхивают дождь червонный
В мои ладони. Над травой зеленой
На паутинке паучок плывет.

Смотрю любовно, всё запоминаю,
Московской осени приметы узнаю,
Как будто где-то есть земля иная,
Суровая земля, которую не знаю,
Но ей я песнь о родине спою…

30 сентября 1949

Наталия Кугушева (1899—1964)

Лесная быль

В роще убили белку,
Была эта белка — мать.
Остались бельчата мелкие,
Что могут они понимать?
Сели в кружок и заплакали.

Но старшая, векша лесная,
Сказала мудро, как мать:
«Знаете что? Я знаю:
Давайте будем линять!
Мама всегда так делала».

I960

Илья Сельвинский (1899—1968)

Баллада

Ежедневно, на рассвете,
Пьет он черный кофе с ромом,
Жадно курит папиросу,
Начиная новый день.
Четверть века та же стойка,
А потом весь день работа,
За кусок насущный хлеба,
У фабричного станка.[87]
Он живет давно на свете,
Ходит изредка к знакомым,
Отвечает на вопросы
Очень сдержанно везде.
И никто не знает:
Тройка,
Расточителя и мота,
Мчит его ночами в небо,

[87] В Париже (в эмиграции).

Пожилого казака.

Николай Туроверов (1899—1972)

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
Вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

1927, Берлин

Владимир Набоков (1899—1977)

Фруктовая весна предместий

Разъезд,
товарная,
таможня...
И убегает под откос
за будкой железнодорожной
в дыму весеннем абрикос,
еще не зелен,
только розов.

И здесь,
над выдыхом свистков,
над жарким вздохом паровозов, —
воздушный холод лепестков.

В депо трезвон
и гром починок,
а в решето больших окон
прозрачным золотом тычинок
дымится розовый циклон.

И на извозчичьем дворе
хомут и вожжи на заборе
в густом и нежном серебре,

как утопающие в море.

В депо,
в конюшни
и дома
летит фруктовое цветенье.

И сходят лошади с ума
от легкого прикосновенья.

1926

Николай Ушаков (1899—1973)

* * *

У каждого своя забота в мире,
Свой счет веселий, песен и потерь.
Стоит зима в неведомой Сибири
И много снега в Галиче теперь.

Примчится вихрь и душу вдруг задует,
Как задувает звёзды на заре.
Еще весна в Рязани не колдует
И лед не тронулся на маленькой Пахре.

А ближе к нам — в морозе мерзнет Киев,
И не размяк душистый чернозем.
У нас теперь заботы не такие,
В иных краях мы и́наче живем.

И даже здесь, где мы — почти немые,
Где пенье слов души не веселит,
Мы ведаем, как там — у нас — в России
Холодный вечер медленно горит,

И как блестит на ветках белый иней,
И как полозья на пути хрустят,
И как звезда горит в пустыне синей,
И голоса родные говорят.

27 февраля 1929, Брюссель

Владимир Диксон (1900—1929)

Ашхабадская акварель

Чуть свет. Час утра. Тающий полет
Луны за Копетдаг, и вкруг нее
Пронзительная легкая качель
Стрижей. Вот — огненно зазеленел
Тутовник, и застрекотала в нем
Чечетка воробьев. Как лепесток
Цветка, у круч молочный воздух. Вдруг —
По серым шелковинкам облаков
Взлетело пламя.
О, не забывай,
Что мы — жильцы воздушнейшей из звезд
Где даже солнца бесподобный блеск
Окрашен в пурпур нежности твоей!

1942

Александр Кочетков (1900—1953)

Холодно

Уже ничего не умею сказать,
Немногого — жду и хочу.
И не о чем мне говорить и молчать —
И так ни о чем и молчу.

...Над пустеющей площадью — неуверенный снег.
Над заброшенным миром — смертоносный покой.
Леденеет фонарь... Семенит человек.
Холодно, друг дорогой.

Довид Кнут (1900—1955)

Смерть[88]

И человек пустился в тишину.
Однажды днем стол и кровать отчалили.
Он ухватился взглядом за жену,
Но вся жена разбрызгалась. В отчаяньи
Он выбросил последние слова,
Сухой балласт — «картофель… книги… летом…»
Они всплеснули, тонкий день сломав.
И человек кончается на этом.

[88] Отклик на смерть Валерия Брюсова (чьей последней любовью была Адалис).

Остались окна (женщина не в счет);
Остались двери; на Кавказе камни;
В России воздух; в Африке еще
Трава; в России веет лозняками.
Осталась четверть августа: она,
Как четверть месяца, — почти луна
По форме воздуха, по звуку ласки,
По контурам сиянья, по-кавказски.
И человек шутя переносил
Посмертные болезни кожи, имени
Жены. В земле, веселый, полный сил,
Залег и мяк — хоть на суглинок выменяй!
Однажды имя вышло по делам
Из уст жены; сад был разбавлен светом
И небом; веял; выли пуделя —
И всё. И смерть кончается на этом.
Остались флейты (женщина не в счет);
Остались дудки, опусы Корана,
И ветер пел, что ночи подождет,
Что только ночь тяжелая желанна!
Осталась четверть августа: она,
Как четверть тона, — данная струна
По мягкости дыханья, поневоле,
По запаху прохладной канифоли.

1924

Аделина Адалис (1900—1969)[89]

[89] Ада́лис.

Жестокое пробуждение

Сегодня ночью
ты приснилась мне.
Не я тебя нянчил, не я тебя славил,
Дух русского снега и русской природы.
Такой непонятной и горькой услады
Не чувствовал я уже многие годы.

Но ты мне приснилась,
как детству — русалки,
Как детству —
коньки на прудах поседелых,
Как детству —
веселая бестолочь салок,
Как детству —
бессонные лица сиделок.
Прощай, золотая,
прощай, золотая!
Ты легкими хлопьями
вкось улетаешь.
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.
Молочница цедит мороз из бидона,
Точильщик торгуется с черного хода.
Ты снова приходишь,
рассветный, бездонный,
Дух русского снега и русской природы.

Но ты мне приснилась,
как юности — парус,
Как юности —
нежные губы подруги,
Как юности — шквал паровозного пара,
Как юности —
слава в серебряных трубах.
Уйди, если можешь,
прощай, если хочешь.
Ты падаешь сеткой
крутящихся точек,
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.
На кухне, рыча, разгорается примус,
И прачка приносит простынную одурь,
Ты снова приходишь,
необозримый
Дух русского снега и русской природы.

Но ты мне приснилась,
как мужеству — отдых,
Как мужеству —
книг неживое соседство,
Как мужеству —
вождь, обходящий заводы,
Как мужеству —
пуля в спокойное сердце.
Прощай, если веришь,

забудь, если помнишь!
Ты инеем застишь
пейзаж заоконный.
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.

1929

Владимир Луговской (1901—1957)

Стансы

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.

Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря,

Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы, или из могилы
Выходит улыбаясь мать.

И вот, стоят навеки вместе
Они среди своих полей,
И, как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему —
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.

Владимир Смоленский (1901—1961)

Старуха

Нависла туча окаянная,
Что будет — град или гроза?
И вижу я старуху странную,
Древнее древности глаза.

И поступь у нее бесцельная,
В руке убогая клюка.

Больная? Может быть, похмельная?
Безумная наверняка.

— Куда ты, бабушка, направилась?
Начнется буря — не стерпеть.
— Жду панихиды. Я преставилась,
Да только некому отпеть.

Дороги все мои исхожены,
А счастья не было нигде.
В огне горела, проморожена,
В крови тонула и в воде.[90]

Платьишко всё на мне истертое,
И в гроб мне нечего надеть.
Уж я давно блуждаю мертвая,
Да только некому отпеть.

1952

Анна Баркова (1901—1976)

* * *

Далеко за арктическим кругом,
Распластав поудобней хвосты,
Рассуждали тюлени друг с другом,
Называя друг друга на «ты».

[90] Анна Баркова была трижды репрессирована, провела в заключении и лагерях 25 лет.

Согласились разумно тюлени:
Жизнь спокойна, сытна, весела
И полна восхитительной лени,
Много холода, мало тепла,
Ни надежд, ни пустых сожалений.

Жизнь от века такою была...

А про ландыши, вешнее таянье,
Исступленное счастье, отчаянье
Сумасшедшая чайка врала
Перед тем, как на льду умерла.

1950

Ирина Одоевцева (1901—1990)

* * *

Колясочки. Собачки. Тишина.
Воскресный воздух города большого.
Весна, весна, опять и вновь весна
В деревьях сада городского.

И лирный голос: «Смертью смерть поправ».
Мне всё равно, кто прав и кто не прав,
Моя любовь укрыться хочет
В дрожании твоих ресниц
И в пении весенних птиц.
Моя любовь боится ночи.

1947

Нина Берберова (1901—1993)

Утешение

Ласточки пробьют большие дыры
В синей вышине.
К вечеру стемнеет, станет сыро,
Вывесят фонарик на окне.

Побежит по лужам тусклый, жирный
Прямо в сад зеленый свет,
Где сиреней хладные кумирни
Берегут пространство, влагу, цвет.

И, ломая пальцы в дикой скуке,
Тот, кто должен умереть,
Слушает их капающие звуки,
Хочет с ними петь — не может петь.

Он, хватая этот воздух млечный,
Каплей, кажется, повис,
Чтоб упасть, расплескивая вечер
В пустоту зияющую — в жизнь.

5-6 мая 1928[91]

[91] В следующем году 27-летний поэт умрет от туберкулеза.

Игорь Юрков (1902—1929)

О любви, урбанизме и пр.

Это было на новой квартире, в Сиднее, в Австралии, когда мы обрели наконец долгожданный приют. Это было в Сиднее, могло же быть ближе и далее, ведь такое бывает повсюду, где люди живут.
Сырость в новом жилье зеленела по стенкам трясиной, и хозяйка смотрела угрюмо, как в сумерки мавр. Но в окошко кивало нам дерево пышной вершиной, там, над крышами, высился царственно камфорный лавр.
С этим милым соседом мы зажили просто на диво! (Несмотря на хозяйку, на щели в полу не смотря.) Попугайчиков рой просыпался на лавре болтливо, лишь притронется к листьям его позолотой заря. Он шумел, он рассказывал нам небылицы и были; и в стоградусный жар был он полн благодатных прохлад; и в туман городской, в эти тучи бензина и пыли, с его листьев струился густой аромат. А когда Южный Крест, Орион и их звездные братья порассыпят свои изумруды над темной листвой, мы — и в ссоре, бывало, — сольем наши руки в пожатьи, Боже мой!.. Жизнь прекрасна! И так коротка!.. Ты — со мной!
Милый лавр... Милый друг на чужбине, без спеси, без чванства. Но однажды, в злой день, возвращаясь с работы домой, мы увидели крыши, заборы, пустое пространство... И кольнуло предчувствие в сердце иглой ледяной.
Урбанизм, модернизм, перестройки... Всё это не худо, и такое бывает повсюду, где люди живут. Но срубили тот лавр... то живое, зеленое чудо!..
И теперь попугайчики нам по утрам не поют.

Клавдия Пестрово (1902—1990)

Черная Мадонна

Вадиму Андрееву

Синевели дни, сиреневели,
Темные, прекрасные, пустые.
На трамваях люди соловели,
Наклоняли головы святые,

Головой счастливою качали.
Спал асфальт, где полдень наследил.
И казалось, в воздухе, в печали,
Поминутно поезд отходил.

Загалдит народное гулянье,
Фонари грошовые на нитках,
И на бедной, выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.

И еще раз, перед самым гробом,
Издадут, родят волшебный звук.
И заплачут музыканты в оба
Черным пивом из вспотевших рук.

И тогда проедет безучастно,
Разопрев и празднику не рада,
Кавалерия, в мундирах красных,
Артиллерия назад с парада.

И к пыли, к одеколону, к поту,
К шуму вольтовой дуги над головой
Присоединится запах рвоты,
Фейерверка дым пороховой.

И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клешем на штанах
Счастья краткий выстрел, лёт мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.

И сквозь жар, ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.

1927

Борис Поплавский (1903—1935)

Можжевеловый куст

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей

Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!

Николай Заболоцкий (1903—1958)

* * *

Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо.[92]
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень большую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит улыбаясь:
Ворон на суку,
А под ним висит качаясь
Кто-то на суку.

[92] *Серсо́* (франц. *cerceau — обруч*) — игра в обруч, который особой палочкой подкидывается в воздух и затем ловится на ту же палочку (или другим играющим — на свою палочку).

Юрий Одарченко (1903—1960)

* * *

Никому не причиняя зла,
Жил и жил я в середине века,
И ко мне доверчивость пришла —
Первая подруга человека.

Сколько натерпелся я потерь,
Сколько намолчались мои губы!
Вог и горе постучалось в дверь,
Я его как можно приголубил.

Где-то рядом мой последний час,
За стеной стучит он каблуками...
Я исчезну, обнимая вас
Холодеющими руками.

В вечность поплывет мое лицо,
Ни на что, ни на кого не глядя,
И ребенок выйдет на крыльцо,
Улыбнется: — До свиданья, дядя!

1962

Михаил Светлов (1903—1964)

* * *

Иконостас, где вырезаны лозы
И виноград, завещанный Ему…
Как хорошо, что набегают слезы,
Что я вернулась к детству своему
И в городе с веселыми ванька́ми,[93]
Где робкий холм «Холодная гора»
Казался мне горою над горами —
Крещенской вьюжной глыбой серебра,
Иду опять «за ручку» в церковь с няней.
Светящаяся старческой красой,
Она торопится к обедне ранней,
Зовет меня «лисичкой» и «лисой» —
Нет, не за хитрости! — за локон рыжеватый
За пышный плащ распущенных волос,
Что дома все, и кстати, и некстати,
Прозвали: «Патрикеевича хвост».
Потом стоим, безмолвные в притворе.
Кругом платочки: всё рабочий люд.
К недугующим, плавающим в море,
И к птицам, что «не сеют и не жнут»,
Уносишься, еще не понимая…
Оглянешься на няню, а она,
Как под венцом, торжественно-прямая,
Стрелой легчайшей ввысь устремлена.
……
Всё минуло… Но не ее ли ради
Любовь и дружба мне давали кров?
И не она ль, вот там, меж виноградин

[93] *Ванькú* — одноконные извозчики в Харькове.

Иконостасных лоз? Святых садов?

Екатерина Таубер (1903—1987)

Старуха

К смерти готовься, а хлебушек сей.
Народная поговорка

Старуха умирала в закуточке,
На грудь сухую голову клоня…
Проститься с ней пожаловали дочки
И сыновья, и прочая родня.

Всё было на слуху и на примете —
Как хоронить и где ключи к добру…
…Кричали петухи, шумели дети
И поспевали ягоды в бору.

Елена Благинина (1903—1989)

Элегия

Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.

Осматривая гор вершины
их бесконечные аршины
вином налитые кувшины
весь мир, как снег прекрасный
я видел темные потоки
я видел бури взор жестокий
и ветер мирный и высокий

и смерти час напрасный.

Вот воин плавая навагой
наполнен важною отвагой
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в волшебные ладони
кладет огонь лихой погони
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.

Где лес глядит в полей просторы
в ночей несложные уборы
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной.
в пустом смущенье чувства прячем
а в ночь не спим томимся плачем,
мы ничего почти не значим
мы жизни ждем послушной.

Нам восхищенье неизвестно,
нам туго пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно
и Бог нам не владыка.
Цветок несчастья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
Нам тем кто как зола остыли
Милей орла гвоздика.

Я с завистью гляжу на зверя

ни мыслям ни делам не веря
умов произошла потеря
бороться нет причины
Мы всё воспримем как паденье
и день и тень и наслажденье
и даже музыки гуденье
не избежит пучины.

В морском прибое беспокойном
в песке пустынном и нестройном
и в женском теле непристойном
отрады не нашли мы.
Беспечную забыли трезвость
воспели смерть воспели мерзость
воспоминанье мним как дерзость
за то мы и палимы.

Летят божественные птицы
их развеваются косицы
халаты их блестят как спицы
в полете нет пощады
Они отсчитывают время
они испытывают бремя
пускай бренчит пустое стремя
сходить с ума не надо.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный
пусть рысью конь спешит зеркальный
вдыхая воздух музыкальный
вдыхаешь ты и тленье.

возница хилый и сварливый
в последний час зари сонливой
гони гони возок ленивый
лети без промедленья.

Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье
На смерть! На смерть! держи равненье
певец и всадник бедный.

1940

Александр Введенский (1904—1941)

* * *

Солнце запало в чужие страны,
Предки водят стада у башен,
Наблюдая большие звезды.
Опусти уставшие веки
От тревожно расплеснутых суток
И бессонной радостной жизни.
Слушай: Там, в лесах араукарий,
Там, где Рак проводит красный тропик,
И летит на выдолбленной лодке
Мертвый, покидающий страну, —

Сон бежит в запутанные чащи,
По пятам за ним охотник скачет,
Но темны леса в дремучем мире,
Да хранит тебя Господь повсюду…

Был старый союз на земле:
хмуро раскачивались идолы,
Ветер гасил костер, запещерная шла гроза;
Мужчина качал колыбель, женщина бредила в углу.
Слушай тягу, да!
Поезда покидают страну,
Там, где мост дуга,
И вокзал — уходящий держит свод.
Глуха Валгалла и нам ли она.
Нам ветер с размаху и серый дождь,
Да поезд, стучащий по спинам шпал;
Земная боль — пушевая дрожь,
За стеклами снег и зга.
Скупая память высекает искру:
— Ты знаешь, в колледже Франции
читают профессора,
Ты помнишь, над темной Францией
стоят пропеллера…
Буфера скрипучи.
«Так вечность просовывает в дверь рога,
Она уставилась в глаза.
Нашими руками обнимает наш путь тайга».
Визжат тормоза…
Поезд плывет против воли,
Железно-сегментный змей.

Смыкается серый вал
Над дымной его головой.
Нам нечего помнить, друг!
Бежит случайная жизнь,
И память мелькнувших стран,
Оставь ее навсегда.
Но ты жадно тащишь душу,
Куда, куда
Каменную бабочку?

1922

Леонид Липавский (1904—1941)

Тропинка гномов

Я нашел в лесу следы,
Что кончались у воды.
Были в том лесу канавы
И проточные пруды.

У воды желтел песок,
Был кустарник невысок.
Там нашел я отпечатки
Маленьких проворных ног.

По песку и по суглинку
Кто-то вытоптал тропинку,
Кто-то часто здесь ходил,
Не задел за паутинку,

Веточки не обломил.

Кто-то вытянул травинку,
Сплел зеленую корзинку
И чернику собирал.
Кто живет в лесу зеленом,
Чья избушка там под кленом —
До сих пор я не узнал.

Между черными корнями
Вижу маленькую дверь,
Загороженную пнями,
Чтоб не вполз лукавый зверь…

1941

Михаил Троицкий (1904—1941)

* * *

И воротник уснувшего соседа,
И желтый и прозрачный лик воды,
И трехколесного велосипеда
Уютные, широкие следы —

Всё хорошо. Минувшее не точит,
В тени домов румян осенний мир,
В листве скребется белка и хлопочет,
Копает землю будущий рабочий,
Жует травинку маленький банкир.

София Прегель (1904—1973)

Поэт на Лиговке

Искривленной от стыда
Улицы намек...
В ожидании суда
Люди ходят вбок.

А поэту от суда
Избавленья нет —
И ведет его беда
Лиговкой сует.

А за Лиговкой сует —
Лиговка тягот,
И бредет по ней поэт
В поисках красот.

А за Лиговкой сует
Лиговкой скорбей
Пробирается поэт
В поисках людей.

Он растекся от сует,
От скорбей продрог,
Протоптав свой краткий срок
В поисках дорог.

Но на миг из тьмы дорог
В самый черный час
На него наводит Бог
Треугольный глаз.

Иван Игнатов (1904—1987)

Отцу

Над улицей серой нависла туча.
На японскую ширму похожий,
шелк дождя закрывал дома вдалеке
и прохожих.
Пожилой мужчина в дождевике
и в шляпе, чуть нахлобученной,
ждал трамвая у остановки…

Так странно
похожий, —
совсем как тот, давнишний, близкий:
руки в карманах,
немного неловкий;
из-под шляпы, надвинутой низко,
седые виски видны.

Профиль мелькнул
сквозь серые нити
осеннего дня: как будто годы —
целая четверть века —
не сумели его изменить!

В память кольнуло —
и канул в воду.
Так просто.
Стоял человек невысокого роста,
и дождь, точно ширма, закрыл человека
и дома с другой стороны.

30 января 1961

Мария Визи (1904—1994)

Песня английских солдат

Солдат, учись свой труп носить,
Учись дышать в петле,
Учись свой кофе кипятить
На узком фитиле,

Учись не помнить черных глаз,
Учись не ждать небес —
Тогда ты встретишь смертный час,
Как свой Бирнамский лес.[94]

Взгляни, на пастбищах войны

[94] В трагедии Шекспира «Макбет» узурпатор Макбет выслушивает три пророчества духов, вызванных для него ведьмами. Третье пророчество утверждает, что Макбет не будет побежден, пока Бирнамский лес не пойдет на Дунсинанский замок. Макбет приходит в восторг от предсказаний — ему некого и нечего бояться, ведь лес не может пойти на войну. Однако, по прошествии времени, враги Макбета объединяются вокруг принца Малькольма и выступают в поход, чтобы захватить его в Дунсинане. В Бирнамском лесу принц Малькольм отдает приказ своим солдатам: пусть каждый срубит ветку и несет перед собой, чтобы скрыть от разведчиков численность нападающих. К Макбету является гонец со странной и страшной вестью — Бирнамский лес двинулся на замок. Макбет терпит поражение и гибнет.

Ползут стада коров,
Телеги жирные полны
Раздетых мертвецов,

В воде лежит разбухший труп,
И тень ползет с лица
Под солнце, тяжкое, как круп
Гнедого жеребца.

Должно быть, будет по весне
Богатый урожай,
И не напрасно в вышине
Собачий слышен лай.

О вы, цепные мудрецы,
Мне внятна ваша речь, —
Восстанут эти мертвецы,
А нас покосит меч.

И полевые мужики,
«Ворочая бразды»,
Вкопают в прах, как васильки,
Кровавых дел следы.

1933

Борис Лапин (1905—1941)

Постоянство веселья и грязи

Вода в реке журчит, прохладна,
и тень от гор ложится в поле,
и гаснет в небе свет. И птицы
уже летают в сновиденьях.
А дворник с черными усами
стоит всю ночь под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Проходит день, потом неделя,
потом года проходят мимо,
и люди стройными рядами
в своих могилах исчезают.
А дворник с черными усами
стоит года под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Луна и солнце побледнели,
созвездья форму изменили.
Движенье сделалось тягучим,
и время стало, как песок.
А дворник с черными усами
стоит опять под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.

И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

14 октября 1933

Даниил Хармс (1905—1942)

Лунный внук

Этой старой деревни фактически нет —
Она была сожжена во время войны дотла,
И расплавились даже церковные колокола.

Теперь всё, кроме церкви, построено вновь:
В новых избах горит электрический свет,
На новых калитках новые почтовые ящики для новых газет.
У новой изгороди новый мотоциклет, —
Словом, этой деревни нет, но она и не умерла.

Вечером из глубины этих новых изб,
Сквозь оконца которых маячат старинные призраки женщин-икон,
Раздается мелодический визг,
Ибо чуть ли не в каждой избе не приемник, так патефон.
И под этот мелодический крик и писк
Девушки изб
Либо пляшут над тихой рекой, либо плетут венок.
А старик
Обязательно смотрит на лунный диск
Через театральный бинокль.
«Что ты видишь? Дай посмотреть и мне!»

Но старик не выпускает бинокля из рук,
Потому что там, на Луне,
Живет внук.

Пусть говорят, что старик нездоров, не вполне он в своем уме,
Но ведь внук не убит, и не сгинул в плену,
И не стал перемещенным лицом, —
Он был отважным бойцом на войне,
А после войны улетел на Луну,
И дело с концом.

Он в командировке, секретной пока, этот внук старика.
Он работает там, на Луне, и усовершенствует лунный свет,
Чтоб исправней сияла Луна и плыла, и плыла
Здесь, над этой старой деревней, которой фактически нет,
Потому что во время войны вся она была сожжена дотла.

1964

Леонид Мартынов (1905—1980)

* * *

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

Человек начинается с горя. Смотри,
Задыхаются в нем парниковые розы.

А с далеких путей в ожиданьи зари
О разлуке ревут по ночам паровозы.

Человек начинается... Нет. Подожди.
Никакие слова ничему не помогут.
За окном тяжело зашумели дожди.
Ты, как птица к полету, готова в дорогу.

А в лесу расплываются наши следы,
Расплываются в памяти бледные страсти —
Эти бедные бури в стакане воды.
И опять разрывается сердце на части.

Человек начинается... Кратко. С плеча.
До свиданья. Довольно. Огромная точка.
Небо, ветер и море. И чайки кричат.
И с кормы кто-то жалобно машет платочком.

Уплывай. Только черного дыма круги.
Расстоянье уже измеряется веком.
Разноцветное счастье свое береги, —
Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком.

Зазвенит и рассыплется мир голубой,
Белоснежное горло как голубь застонет,
И полярная ночь проплывет над тобой,
И подушка в слезах как Титаник потонет...

Но, уже погружаясь в Арктический лед,
Навсегда холодеют горячие руки.

И дубовый отчаливает пароход
И, качаясь, уходит на полюс разлуки.

Вьется мокрый платочек, и пенится след,
Как тогда... Но я вижу, ты всё позабыла.
Через тысячи верст и на тысячи лет
Безнадежно и жалко бряцает кадило.

Вот и всё. Только темные слухи про рай...
Равнодушно шумит Средиземное море.
Потемнело. Ну что ж. Уплывай. Умирай.
Человек начинается с горя.

1932

Алексей Эйснер (1905—1984)

Ветер

— Мама, а кто это поет там?
— Ветер.
— Мама, бывают у ветра дети?
— Были бы дети, был бы свой дом.
Он бы не пел под чужим окном.

Надежда Надеждина (1905—1992)

* * *

Звезда ли вдали? Костер ли?..

У берегов
Уже стихиали простерли
Белый покров.[95]

Беседует только Неруса
Со мной одна,
Шевелит зеленые бусы
Чистого дна.[96]

И льнет к моему изголовью,
Льется, звенит,
Поит непорочною кровью
Корни ракит.

Как плоть — в ее ток несравненный
С жаркой стези,
В эфирные воды вселенной
Дух погрузи.

Ты сам — и прохладные реки,
И мгла берегов...
Забудь о себе — человеке,
Брат богов.

1950

Даниил Андреев (1906—1959)

[95] *Стихиали* (в мистическом учении Даниила Андреева, изложенном в книге «Роза Мира») — богосотворенные духи, проходящие свой путь становления сквозь стихии природы.
[96] *Нерусса (также Неруса)* — река, протекающая по территории Орловской и Брянской областей. 29 июля 1931 года на берегах Неруссы Даниил Андреев испытал чувство, которое позже назвал «прорывом космического сознания».

Июньская баллада

День еще не самый длинный,
длинный день в году,
как кувшин
из белой глины,
свет стоит в саду.

А в кувшин
из белой глины
вставлена сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

На реке
поют сирены,[97]
и весь день в саду
держит лиру
куст сирени,
как Орфей в аду.[98]

Ад заслушался,
он замер,
ад присел на пень,

[97] *Сирены* (греч. миф.) — полуптицы-полуженщины, своим пением завлекавшие моряков в опасные места, где они погибали.
[98] *Орфей в аду* и т. д. В поэме Овидия «Метаморфозы» рассказывается, в частности, о том, что когда нимфа Эвридика, жена великого певца Орфея, умерла, тот спустился в царство мертвых Аид и пением своим сумел очаровать его обитателей и самого бога Аида, который согласился отпустить Эвридику.

спит
с открытыми глазами
Эвридики тень.

День кончается
не скоро,
вьется рой в саду
с комариной
Терпсихорой,[99]
как балет на льду.

А в кувшин
из белой глины
сыплется сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

1969

Семен Кирсанов (1906—1972)

* * *

Знаю я — малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебедянью,
А в Медыни золотится мед,
Не скопа ли кружится в Скопине?

[99] *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танцев.

А в Серпейске ржавой смерти ждет
Серп горбатый в дедовском овине.

Наливные яблоки висят
В полисадах тихой Обояни,
Город спит, но в утреннем сиянье
Чей-нибудь благоуханный сад.

И туман рябиновый во сне
Зыблется, дороги окружая,
Горечь можжевеловая мне
Жжет глаза в заброшенном Можае,

На заре Звенигород звенит —
Будто пчелы обновляют соты,
Всё поет — деревья, камни, воды,
Облака и ребра древних плит.

Ты проснулась. И лебяжий пух
Лепестком на брови соболиной,
Губы веют теплою малиной,
Звоном утра околдован слух.

Белое окошко отвори!
От тебя, от ветра, от зари
Вздрогнут ветви яблони тяжелой,
И росой омытые плоды
В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты
И цвела у солнечной черты,
Босоногой, теплой и веселой.

Я тебя не видел никогда...

В Темпикове темная вода
В омуте холодном ходит кругом;
Может быть, над омутом седым
Ты поешь, а золотистый дым
В три столба встает над чистым лугом.

На Шехонь дорога пролегла,
Пыльная, кремнистая дорога.
Сторона веснянская светла.
И не ты ль по косогору шла
В час, когда, как молоко, бела
Медленная тихая Молога?

Кто же ты, что в жизнь мою вошла:
Горлица из древнего Орла?
Любушка из тихого Любима?
Не ответит, пролетая мимо,
Лебедь, будто белая стрела.

Или ты в Архангельской земле
Рождена, зовешься Ангелиной,
Где морские волны с мерзлой глиной
Осенью грызутся в звонкой мгле?

Зимний ветер и упруг и свеж,
По сугробам зашагали тени,
В инее серебряном олени,
А мороз всю ночь ломился в сени.

Льдинкою мизинца не обрежь,
Утром умываючись в Мезени!

На перилах синеватый лед.
Слабая снежинка упадет —
Таять на плече или реснице.
Посмотри! На севере туман,
Ветер, гром, как будто океан,
Небом, тундрой и тобою пьян,
Ринулся к бревенчатой светлице,

Я узнаю, где стоит твой дом!
Я люблю тебя, как любят гром,
Яблоко, сосну в седом уборе.
Если я когда-нибудь умру,
Всё равно услышишь на ветру
Голос мой в серебряном просторе!

1940

Сергей Марков (1906—1979)

* * *

Заглянул к себе в подвал, —
А оттуда — скверной сыростью...
Я давно их не топтал:
Вот, успели снова вырасти.

Беловаты, как грибы.

Я сравнил бы их с опенками.
Натянули туго лбы,
Заплелись ногами тонкими.

Притаились, пауки!
Не моргнут глаза их кроличьи...
Все как будто двойники,
Все Борисы Анатольичи.

Борис Нарциссов (1906—1982)

* * *

Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову... (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся)...

Марсель, 1933

Анатолий Штейгер (1907—1944)

Детство

Тихий дворик, качели,
За воротами лают собаки,
На окне потемнели
И повяли усталые маки.

Воздух сладкий и клейкий,
Бьют к вечерней в соседнем соборе.
Кошки ищут лазейки
В покосившемся, старом заборе.

Завтра вновь воскресенье —
Будут шумные гости, наверно.
Сон неслышною тенью
Накрывает меня и Жюль Верна...

Тигр, как Жучка, залаял,
Задрожало змеиное око.
Тихий дворик растаял
В синей дали реки Ориноко.

Михаил Чехонин (1907—1962)

* * *[100]

А девушка тут где смеялась, любила
Но смех уж застыл и остыла любовь.
И нож уж ползет по руке, где скользила,
Где радость текла и гремела веселая кровь.
И нож уже в теле как скрежет
Идет не спеша и всё глубже и режет
И нож по груди где ласка — тоска.

[100] Все стихи Геннадия Гора были написаны в 1942—1944 годах под впечатлением Ленинградской блокады. В начале апреля 1942 года Гор эвакуационным эшелоном покинул Ленинград, где провел первую, самую тяжелую блокадную зиму, — а спустя несколько месяцев стали появляться первые стихотворения (на поэтику которых оказали решающее влияние стихи Хармса). Стихи известного советского прозаика Гора были обнаружены лишь после его смерти.

Где милое, страшное, Люда, Людмила?[101]
Ты девочкой прыгала, папу любила,
Ты девушкой стала и вот ты доска.
А нож всё ползет, и всё режет
И режет и нежит и режет,
А нож всё ласкает жестокий
Как дети, острый и нежный.
И двое стоят и смеются бесстыдно
И смотрят в тебя как будто им видно
Душу твою, светлую ветку.
То ветку живую срубили бездушно.
Зарезали девушку. Плачет воздушно
Небо тоскует по той что Людмилой
Звалась. Что была певуньей, девчонкой
Застыло, обвисло стало синей печенкой,
Что было девчонкой, что прыгало, пело
Что речкой гремело о камни так смело
Что девочкой Людой девчонкой звалось.

июль 1942

Геннадий Гор (1907—1981)

* * *[102]

Скоро мне при свете свечки
В полуденной тьме

[101] *Людмила* здесь (как и в других стихах Гора) — условное поэтическое имя (ср. с персонажем одноименной баллады Жуковского). Речь идет как об образе погубленной Прекрасной Дамы (воплощении жизни, души, России), так и о прямом людоедстве, случае которого были нередки в Ленинградскую блокаду.
[102] Стихотворение написано на Колыме.

Греть твои слова у печки.
Иней на письме.

Онемело от мороза
Бедное письмо.
Тают буквы, точат слезы
И зовут домой.

1953

Варлам Шаламов (1907—1982)

* * *

В вагоне надымлено. Медная мелочь
Привычно сиротствует в брючных карманах,
И тени деревьев, как поздние слезы,
Бегут по щекам утомленных молочниц.

Молчат пассажиры на жестких скамейках,
Мужчины мечтают, а женщины дремлют.

Мне каждый мужчина годится в отцы,
Годится мне каждая женщина в матери.

За окнами небо чернеет сурово, —
И люди, наскучив своей тишиной,
Заводят беседу, и каждое слово
Могло быть заведомо сказано мной.
И небо волнуется справа и слева,

Бесшумно плывет за дубравой дубрава,
И синее солнце, как спелая слива,
В студеное озеро кануть готово.

Я мог бы ребенком гулять в этих рощах
И розовых бабочек шапкой ловить.
Я мог бы учиться на медные деньги,
Я мог бы родиться в семье землемера,
В любом городишке, в деревне любой,
В том маленьком доме с кирпичной трубой,
Что тает, как сахар, в воде голубой.

1935

Аркадий Штейнберг (1907—1984)

Греческая кофейня

Где белый камень в диком блеске
Глотает синьку вод морских,
Грек Ламбринуди в красной феске
Ждал посетителей своих.

Они развешивали сети,
Распутывали поплавки
И, улыбаясь точно дети,
Натягивали пиджаки.

— Входите, дорогие гости,
Сегодня кофе как вино! —

И долго в греческой кофейне
Гремели кости
Домино.

А чашки разносила Зоя,[103]
И что-то нежное и злое
Скрывала медленная речь,
Как будто море кружевное
Спадало с этих узких плеч.

1958

Арсений Тарковский (1907—1989)

* * *

Луна на том берегу
бросила мне конец полотенца.
Я стала обматывать полотенцем
черные обгорелые пни,
черные обгорелые головы...
Но мне не хватило луны.

1964

Вера Маркова (1907—1995)

* * *

[103] *Зоя* по-гречески означает «жизнь».

А счастье — это голоса
Любимых в комнате соседней.
В последний раз иль в предпоследний
Моих любимых голоса.

Лидия Чуковская (1907—1996)

Последние стихи

Эти стихи, наверное, последние.
Человек имеет право перед смертью высказаться.
Поэтому мне ничего больше не совестно.
Я всю жизнь пыталась быть мужественной,
Я хотела быть достойной твоей доброй улыбки
Или хотя бы твоей доброй памяти.
Но мне это всегда удавалось плохо,
С каждый днем удается всё хуже,
А теперь, наверно, уже никогда не удастся.
Вся наша многолетняя переписка
И нечастные скудные встречи —
Напрасная и болезненная попытка
Перепрыгнуть законы пространства и времени.
Ты это понял прочнее и раньше, чем я.
Потому твои письма, после полтавской встречи,
Стали конкретными и объективными, как речь докладчика,
Любознательными, как викторина,
Равнодушными, как трамвайная вежливость.
Это совсем не твои письма. Ты их пишешь, себя насилуя,
Потому они меня больше не радуют,
Они сплющивают меня, как молоток шляпу гвоздя.

И бессонница оглушает меня, как землетрясение.
… Ты требуешь от меня благоразумия,
Социально значимых стихов и веселых писем,
Но я не умею, не получается…
(Вот пишу эти строки и вижу,
Как твои добрые губы искажает недобрая «антиулыбка»,
И сердце мое останавливается заранее.)
Но я только то, что я есть, — не больше, не меньше:
Одинокая, усталая женщина тридцати лет,
С косматыми волосами, тронутыми сединой,
С тяжелым взглядом и тяжелой походкой,
С широкими скулами, обветренной кожей,
С резким голосом и неловкими манерами,
Одетая в жесткое коричневое платье,
Не умеющая гримироваться и нравиться.
И пусть мои стихи нелепы, как моя одежда,
Бездарны, как моя жизнь, как всё чересчур прямое и честное,
Но я то, что я есть. И я говорю, что думаю:
Человек не может жить, не имея завтрашней радости,
Человек не может жить, перестав надеяться,
Перестав мечтать, хотя бы о несбыточном.
Поэтому я нарушаю все запрещения
И говорю то, что мне хочется,
Что меня наполняет болью и радостью,
Что мне мешает спать и умереть.
… Весной у меня в стакане стояли цветы земляники,
Лепестки у них белые с бледно-лиловыми жилками,
Трогательно выгнутые, как твои веки.
И я их нечаянно назвала твоим именем.
Всё красивое на земле мне хочется называть твоим именем:

Все цветы, все травы, все тонкие ветки на фоне неба,
Все зори и все облака с розовато-желтой каймою —
Они все на тебя похожи.
Я удивляюсь, как люди не замечают твоей красоты,
Как спокойно выдерживают твое рукопожатье,
Ведь руки твои — конденсаторы счастья,
Они излучают тепло на тысячи метров,
Они могут растопить арктический айсберг,
Но мне отказано даже в сотой калории,
Мне выдаются плоские буквы в бурых конвертах,
Нормированные и обезжиренные, как консервы,
Ничего не излучающие и ничем не пахнущие.
(Я то, что я есть, и я говорю, что мне хочется.)
… Как в объемном кино, ты сходишь ко мне с экрана,
Ты идешь по залу, живой и светящийся,
Ты проходишь сквозь меня как сновидение,
И я не слышу твоего дыхания.
… Твое тело должно быть подобно музыке,
Которую не успел написать Бетховен,
Я хотела бы день и ночь осязать эту музыку,
Захлебнуться ею, как морским прибоем.
(Эти стихи последние и мне ничего больше не совестно.)
Я завещаю девушке, которая будет любить тебя:
Пусть целует каждую твою ресницу в отдельности,
Пусть не забудет ямочку за твоим ухом,
Пусть пальцы ее будут нежными, как мои мысли.
(Я то, что я есть, и это не то, что нужно.)
… Я могла бы пройти босиком до Белграда,
И снег бы дымился под моими подошвами,
И мне навстречу летели бы ласточки,

Но граница закрыта, как твое сердце,
Как твоя шинель, застегнутая на все пуговицы.
И меня не пропустят. Спокойно и вежливо
Меня попросят вернуться обратно.
А если буду, как прежде, идти напролом,
Белоголовый часовой поднимет винтовку,
И я не услышу выстрела —
Меня кто-то как бы негромко окликнет,
И я увижу твою голубую улыбку совсем близко,
И ты — впервые — меня поцелуешь в губы.
Но конца поцелуя я уже не почувствую.

1941

Елена Ширман (1908—1942)

* * *

Поля без конца, без предела,
Где ночью рождаются сны,
А днем пролегает несмело
Граница соседней страны,

Где пахнет цветами, и летом,
И сеном, и свежестью рос,
И душным июльским ответом
На робкий весенний вопрос...

Гляжу в безграничные дали,
В мерцанье зеленых полей,

Лежу в синеве и печали,
В тоске благодатной моей.

Я слышу жужжанье, и шепот,
И шорох, и легкий полет,
И горький бессмысленный ропот
В усталой душе не встает.

Сюда приходил я и прежде
От пыльной судьбы городской,
В неясной и чудной надежде,
В желанный, но смутный покой.

И даже в полях бесконечных,
В июльский торжественный зной
Лишь звук обещаний сердечных
Миражем парил предо мной.

Теперь я вернулся на волю,
Но только вернулся другим —
И легче беседовать полю
С внимательным сердцем моим.

Юрий Мандельштам (1908—1943)

Разговор детей

Дождик кричал за окном.
В капельках бегали люди.
Легкое солнце светило.

Маленький сад зеленел.

Мальчик

Если бы в капельку влез,
Никогда бы не стал умываться,
Никогда бы не чистил зубов,
А прыгал бы с башни на башню,
В облаках кувыркаясь!

Девочка

А я бы гуляла в огромной траве —
В ней кузнечики больше коров.
Я бы их ловила сеткой,
В которой висят земля и небо.
Я ее видела во сне,
Когда училась летать.

Совсем маленький мальчик с соседнего двора

У меня есть дома песчинка.
У вас такой нет.
В ней большой мужик с топором.
Большой рукомойник и мыло.
Я умею надувать пузыри.

Большая девочка

Как всё о смешном говорят

Эти глупые малыши!
Это всё отражается из физики!
Все мальчишки в меня влюблены,
Но я никого из них не люблю.
Кажется, многое очень смешно,
И очень всё интересно.
Я пройду, и никто не узнает,
Никому ничего не скажу,
Никогда не буду смеяться...

Дождик замолчал, и капельки высохли.
День прошел. Год прошел.
Восемь лет. Сорок лет.
Жили.
Всё забыли.
Умерли.

От океанов ночь наступала в кимвалах.
Утро смеялось сквозь листья водой...
И снова по улицам бегали люди,
И дети, как дождик, галдели,
Теснясь на дырявом балкончике.
А жизнь, что сквозь слух деревянный
Натруженных временем лип
Оградным железом вросла в древесину,
Говорила им мокроогненной зеленью,
Смутным ропотом о полдень
И, темнея от гнева, шумела сказаньем в ночи.

1932

Владимир Державин (1908—1975)

* * *

Пусть будет близким не в упрек
Их вечный недосуг.
Со мной мой верный огонек,
Со мной надежный друг.

Не надо что-то объяснять,
О чем-то говорить, —
Он сразу сможет всё понять,
Лишь стоит закурить.

Он скажет: «Ладно, ничего», —
Свеченьем золотым,
И смута сердца моего
Рассеется как дым.

«Я всё же искорка тепла», —
Он скажет мне без слов, —
«Я за тебя сгореть дотла,
Я умереть готов.

Всем существом моим владей,
Доколе ты жива…»
Не часто слышим от людей
Подобные слова.

1967

Мария Петровых (1908—1979)

Тишайшая из пиес

Эрике

Блуждает филин глазом посторонним
по берегу пустынного притока.
Летит журавль многосторонний,
вонзаясь грудью в свет высокий.
Законом, присланным Лукой,
поля стремятся на покой.
Погода дремлет. Воздух душен.
Я в сад вхожу, мне сад послушен.
Встает на цыпочки трава,
у каждой травки голова,
которая качается лениво.
Заход светил приветствует крапива,
перстом несмело отмечая,
спрашивает: «Который час?»
Мышонок звонко отвечает,
танцуя польку подбочась.
Над кровлей туча пролетела,
бросив тень в чуть слышный сад.
Горбатый пес зрачком несмелым
нырнет разок, издаст: «Грык дру…»
с повторным: «Гру…»
И снова тихо. Рожь кругом.
Глядят гвоздики за окном,

росу приметив, говорят:
«Вода нужна
в наш тонкий зад».

1925

Игорь Бахтерев (1908—1996)

* * *

Я хочу умереть, мне уже надоело
Каждый день всё кого-нибудь разлюблять,
Одевать и кормить это скучное тело,
Вешать брюки на стул и ложиться в кровать.

Всё не ново и грустно, но всё же невольно
Я читаю стихи и пишу я стихи,
Будто мне пламенеть и зевать не довольно,
Будто в жизни бывают низы и верхи…

Ах, как скучно. Гремит дождевая баллада…
О, любезная крыша, живут под тобой.
Да и кроме тебя ничего мне не надо,
Ибо кончена битва, и сыгран отбой.

Засыпаю, усталый от красных и рыжих…
И единственный сон много лет берегу:
В белой шапочке девушка едет на лыжах,
Пахнет елкой и сумрак лежит на снегу.

Владимир Щировский (1909—1941)

Шнурренлауненбург[104]

Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок,
Я рисовал красными чернилами, чтоб было покрасивее,
Веселый несуществующий городок Шнурренлауненбург.
Потом прошли года,
Я забыл, я совсем забыл про него,
И сегодня вспомнил снова.
Как ясен он предо мной! Выйду и пойду бродить по его улицам.
Вот дворцовая площадь с домиками из пестрого картона,
С мраморным львом, покрашенным для правдоподобия в желтый цвет.
А вон и церковь: на ее крышу ставят ангелам кружки пива,
Чтоб ночью, охраняя город, они не страдали от жажды.
Говорят, что этот обычай сильно печалит герцога:
Он любит просвещение и считает, что это чушь,
Но еще больше просвещения он любит свою коллекцию фарфора и собачьих хвостов.
А про гофрата говорят совсем странные вещи,[105]
Будто он целый день пьет кофе и беседует с попугаями о смысле жизни,
А по вечерам садится на свой чубук и улетает... куда?
Шнурренлауненбург!
Пестрый радостный город!
Долго ль я буду блуждать по веселым твоим переулкам,
Спорить с попугаями гофрата и сидеть в кабаке голубого цветка,
Или снова будет, что было раньше:
Серый день, затхлый, как непроветренная комната,

[104] Название этого вымышленного города составлено из немецких слов: “шнурре” (смешной рассказ), “лауне” (настроение, каприз) и “бург” (крепость, город).
[105] *Гофрат* (Hofrat) — член городского совета (нем.)

Одиночества тусклый свет?

Михаил Горлин (1909—1943)

* * *

Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком…»
— Домбровский, — говорят, — ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же!
— Не слышу, — говорю, — пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы:
— Так не отдашь топор мне?
— Не отдашь!
— Ну, сам возьму!
— Возьми!
— Возьму!
— Попробуй!
Он в ноги мне кидается, и тут,

Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И — поминайте, как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»

И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!

Юрий Домбровский (1909—1978)

* * *

На стволах студеный зимний глянец,
В серых ветках ветер затяжной,
На пустой скамейке двое пьяниц
Сели тесно, к северу спиной.

Вот один откинулся и замер,
Вижу локоть выгнутой руки, —
А другой следит и пьет глазами
И считает долгие глотки.

Им обоим нет дороги к дому

И никто им на земле не рад…
Оторвался первый и второму
Молча, нежно, отдает, как брат.

Лидия Алексеева (1909—1989)

* * *

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.

Среди ежевики, синики, черники —
И голос души, словно тень Эвридики.[106]

И я очутился в той роще осенней,
У берега детских моих впечатлений.

И больше не прибыль, не убыль, не гибель,
А лист пожелтелый на водном изгибе

И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжащий в траве, от нее голубея.[107]

Там, словно под тенью священного лавра,
Корова лежит с головой Минотавра,[108]

[106] Легендарный древнегреческий поэт-певец Орфей попытался вывести из загробного царства Аида свою возлюбенную Эвридику (пребывавшею там как тень среди других теней, т. е. душ умерших).
[107] *Скарабей* — навозный жук; изображение священного жука у древних египтян на монетах, на камне и т. п., а также монета, камень и т. п. с таким изображением.
[108] *Минотавр* (др.-греч. «бык /царя/ Миноса») — критское чудовище, людоед с головой быка, живший в Лабиринте.

Египетским богом там кажется дятел,
И я наблюдаю, простой наблюдатель,

За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо — душа (только более смело?).

Игорь Чиннов (1909—1996)

* * *

Глазами рыбьими поверья
Еще глядит страна моя,
Красны и свежи рыбьи перья,
Не гаснет рыбья чешуя.

И в гнущихся к воде ракитах
Ликует голос травяной —
То трубами полков разбитых,
То балалаечной струной.

Я верю — не безноги ели,
Дорога с облаком сошлась,
И живы чудища доселе —
И птица-гусь, и рыба-язь.

1928, Омск

Павел Васильев (1910—1937)

* * *

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...
Из песни

— Ты откуда эту песню,
Мать, на старость запасла?
— Не откуда — всё оттуда,
Где у матери росла.

Всё из той своей родимой
Приднепровской стороны,
Из далекой-предалекой
Деревенской старины.

Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Давней молодости слезы,
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края

Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону
Сторону — домой...

1965

Александр Твардовский (1910—1971)

Каменная дудка

Я каменная утка,
я каменная дудка,
я песни простые пою.
Ко рту прислони,
тихонько дыхни —
и песню услышишь мою.
Лежала я у речки
простою землею,
бродили по мне журавли,
а люди с лопатой
приехали за мною,
в телегах меня увезли.
Мяли меня, мяли
руками и ногами,
сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
в самое пламя,
горела я там три дня.
Стала я тонкой,
стала я звонкой,
точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
я каменная дудка,
пою потому, что весна.

1926, 1930

Ольга Берггольц (1910—1975)

* * *

Из дома, как из черепной коробки,
где много дум, и дыма, и забот,
мы вышли в сад. День пережит за год.
Ум перешит на новый лад, и вот
в саду ползут задумчивые тропки.
Из Божьей трубки облаков колечки
плывут по высям расписным.
Как деревянные овечки,
стоят скамейки. Сядем, посидим.
Что было днем, уже забыто,
как сто веков назад. Не вспоминай, не тронь!
И пруд стоит, как тихое корыто.
Навстречу вечеру лицо твое открыто,
как чистая прохладная ладонь.

Сергей Петров (1911—1988)

* * *

Я, вероятно, очень стар,
Но, как и в детстве — у балкона
Повис задумчивый комар
На нитке собственного звона.

И то же всё до мелочей,
До каждой трещины на блюдце…
Когда я слышу: «Мальчик! Эй!» —
Я не могу не оглянуться.

1943, Пермь

Николай Стефанович (1912—1979)[109]

Ночные музыканты

Hier sind wir arme Narrn
Auf Plätzen und auf Gassen.[110]

Вот дураки.
Уже зажаты скрипки,
А он еще не подымал руки,
Немой и робкий.

Их голоса, слагаясь в хор,
Живут, как части.
Они ведут согласный спор,
Топчась на месте.

Один ощупывает грудь —
В ней дырки флейты.
Другой свернулся, чтобы дуть,
Сверкающий и желтый.

Тот, у кого висел язык,

[109] Стефано́вич.
[110] Вот мы здесь, бедные шуты (или: дураки) / На площадях и улочках (нем.).

Исходит звоном,
А самый круглый из пустых
Стал барабаном.

Вот девушка глядит в окно,
Внимая стонам.
Она мертва. Ей всё равно.
Она кивает всем им.

О, как волшебно извлекать
Из носа звуки,
Одному только не на чем играть,
У него пустые руки.

Ей щиплет сонные глаза
Их треск и копоть.
Когда на щеке висит слеза,
Ее приятно выпить.

Им удается побороть
Голодные вопли.
Но зачем, зачем им собирать
Соленые капли?!

Колышет ветром рукава,
Сверкают плечи.
Он не умеет воровать,
Он только плачет.

1939, Ленинград

Павел Зальцман (1912—1985)

* * *

Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Касаться рук и догадаться вдруг,
Что жажду я твоих коснуться рук,

И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.

1937

Семен Липкин (1911—2003)

Из детства

Я полоскала небо в речке
и на новой лыковой веревке
развесила небо сушиться.
А потом мы овечьи шубы
с отцовской спины надели
и сели
        в телегу
и с плугом
поехали в поле сеять.
Один ноги свесил с телеги

и взбалтывал воздух, как сливки,
а глаза другого глазели
в тележьи щели,
а колёса на оси,
как петушьи очи, вертелись.
Ну, а я посреди телеги,
как в деревянной сказке сидела.

1948

Ксения Некрасова (1912—1958)

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня

одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь —
почувствуешь: вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

1940

Ярослав Смеляков (1913—1972)

* * *

Однажды ко мне пристала корова.
Я был тогда прикомандирован
к дивизии. Рано утром, тишком, нишком,
добираюсь до передового пункта, и слышу:
кто-то за мной идет
и дышит, как больной:
оборачиваюсь — корова;

рябая, двурогая; особых примет — нет.

май 1946

Ян Сатуновский (1913—1982)

Озеро любви

Древнее озеро, скрытое в горном провале,
Даже герои пробиться к тебе не могли!
Мне же, избраннику, бездны твои колдовали
Лучше и слаще озер мелководных земли.

С каждым приходом доверчивей, ближе и ближе
Я поддаюсь обаянью твоей западни.
Томный, шепчу, как во сне: утоли, утоли же!
И отзываешься ты: утони, утони!

Чудно, что ты отвечаешь так нежно и скоро,
Страшно, что алчешь, — но тайна еще не ясна,
Что не похоже ты вовсе на наши озера:
Не погибает лишь тот, кто доходит до дна.

1945

Валерий Перелешин (1913—1992)

* * *[111]

[111] Считается, что в стихотворении предсказана блокада, во время которой Ривин, по-видимому, погиб.

Вот придет война большая,
Заберемся мы в подвал.
Тишину с душой мешая,
Ляжем на пол, наповал.

Мне, безрукому, остаться
С пацанами суждено,[112]
И под бомбами шататься
Мне на хронику в кино.

Кто скитался по Мильенке,[113]
Жрал дарма а-ля фуршет,
До сих пор мы все ребенки,
Тот же шкиндлик, тот же шкет.[114]

Как чаинки, вьются годы,
Смерть поднимется со дна,
Ты, как я, — дитя природы
И прекрасен, как она.

Рослый тополь в чистом поле,
Что ты знаешь о войне?
Нашей общей кровью полит,
Ты порубан на земле.

И меня во чистом поле
Поцелует пуля в лоб,

[112] После школы Ривин работал на заводе, где ему искалечило левую руку — станок оттяпал несколько пальцев.
[113] Миллионная улица в Ленинграде (идет мимо Зимнего дворца).
[114] *Шкет* — “мальчишка” на уличном арго, то же, что “пацан”. Словечко вошло в широкий обиход после выхода книги “Республика Шкид”. Слово “шкиндлик” не зафиксировано ни одним из словарей.

Ветер грех ее замолит,
Отпоет воздушный поп.

Вот и в гроб тебя забрали,
Ох, я мертвых не бужу,
Только страшно мне в подвале,
Я еще живой сижу.

Сева, Сева, милый Сева,
Сиволапая свинья...[115]
Трупы справа, трупы слева
Сверху ворон, сбоку — я.

1939

Александр Ривин (ок. 1915 — ок. 1942)

* * *

Подживает рана ножевая.
Поболит нет-нет, а всё не так.
Подживает, подавая знак:
— Подымайся!
Время!
Ты — живая!
Обращаюсь к ране ножевой,
в долготу моих ночей и дней:
— Что мне делать на земле, живой?

[115] Стихотворение посвящено Всеволоду Карачаровскому (погиб на Ленинградском фронте в 1942 году). Сева упрекал друга за “свинью”, но тот упорствовал: “А кто же ты? Близкий друг, “ами кошон” по-французски, то есть “друг — свинья”.

А она в ответ:

— Тебе видней.

1989

Маргарита Алигер (1915—1992)

Фантастика

Как здесь холодно вечером, в этом безлюдном саду,
У квадратных сугробов так холодно здесь и бездомно.
В дом, которого нет, по ступеням прозрачным взойду
И в незримую дверь постучусь осторожно и скромно.

На пиру невидимок стеклянно звучат голоса,
И ночной разговор убедительно ясен и грустен.
— Я на миг, я на миг, я погреться на четверть часа.
— Ты навек, ты навек, мы тебя никуда не отпустим.

— Ты всё снился себе, а теперь ты к нам заживо взят.
Ты навеки проснулся за прочной стеною забвенья.
Ты уже на снежинки, на дымные кольца разъят,
Ты в земных зеркалах не найдешь своего отраженья.

1969

Вадим Шефнер (1915—2002)

* * *

На Первомайской жду трамвая.
Вокзал гудит передо мной.
Калека-нищий, завывая,
Сидит у самой мостовой.

Трамвай подходит, но не мой.

Идет безбровый и прыщавый
Полудешевой пудры слой,
А рядом чубчик кучерявый
И зуб с коронкой золотой.

Трамвай подходит, но не мой.

Платочек в серенький горошек
Людской выносится волной
И, пометавшись у подножек,
Вдруг исчезает на одной.

Трамвай подходит, но не мой.

Тень на сугробе под часами
В высокой шапке меховой.
Она с другими голосами
Смеется за моей спиной.

Который час? Уже восьмой.

Гудят заводы. На вокзале
Всем шепчет серое пальто:

«Ты, вы, они, мы опоздали!»,
И, глядя с ужасом на то,
Как ужас искажает лики,
Которых нет передо мной,
Я вдруг мычу нелепым криком,
Как раненый глухонемой,

И просыпаюсь. Боже мой!

Николай Моршен (1917—2001)

Гроза

Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далёко, может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась и в кусты

Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь. И снова мир.
Как равнодушье, как овал.

Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

20 января 1936

Павел Коган (1918—1942)

Ошибка

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,

Только однажды мы слышим, как будто,
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия.
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота
Где полегла в сорок третьем пехота,
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря...

Александр Галич (1918—1977)

* * *

Запалят прошлогодние листья,
и потянет дымком между сосен.
Всколыхнется душа, затоскует,
то ли старость уже, то ли осень.

То ли сизое воспоминанье
дочерна перетлевшей невзгоды;
то ли вечная горечь России —
много воли и мало свободы.

Сушат хлеб, или топится баня,
костерок в чистом поле белесый, —
посреди безутешного мира —
дым отечества, счастье сквозь слезы.

1968

Глеб Семенов (1918—1982)

* * *

Каштановым конвоем
Окружено окно,

И вся земля запоем
Пьет красное вино.

Мой голубой автобус
Уходит на бульвар.
Как мне понятна робость
Его туманных фар!

Он весь как на эстраде,
Под рыжей бахромой.
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.

От парка и до парка
Он ветрами несом.
И осень, как овчарка,
Бежит за колесом.

Иван Елагин (1918—1987)

Краткое содержание

Шел — и встретил женщину.
Вот и всё событие.
Подумаешь, событие!..
А не могу забыть ее.

Не могу забыть ее,
А она — забыла.
Вот и всё событие...

Вот и всё, что было...

1964

Борис Заходер (1918—2000)[116]

Творчество

Я видел, как рисуется пейзаж,
Сначала легкими, как дым, штрихами
Набрасывал и черкал карандаш
Траву лесов, горы огромный камень.
Потом в сквозные контуры штрихов
Мозаикой ложились пятна краски,
Так на клочках мальчишеских стихов
Бесилась завязь — не было завязки.
И вдруг картина вспыхнула до черта —
Она теперь гудела как набат,
А я страдал — о, как бы не испортил,
А я хотел — еще, еще набавь!
Я закурил и ждал конца. И вот
Всё сделалось и скучно и привычно.
Картины не было — простой восход
Мой будний мир вдруг сделал необычным.

Картина подсыхала за окном.

1939

[116] Заходе́р.

Михаил Кульчицкий (1919—1943)

Дорога

Не балована
И не нежена,
Вся истоптана,
Вся изъезжена,
Всю повытерли,
Ископытили
И извозчики,
И водители.
Вечно корчится,
Вечно мается
И лежит в пыли,
Извивается.
Эх, пожить бы ей
Недотрогою!
Да кому ж тогда
Быть дорогою?..

Александр Люкин (1919—1968)

* * *

Давным-давно
Темным-темно;
Но всё равно
Смотрю в окно.

Николай Глазков (1919—1979)

Зеленые дворы

На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат.
И было им, как мне, давно за сорок,
И был я им давным-давно не рад.

Июльский день был жарок, бел и гулок,
Дышали тяжко окна и дворы.
На Пятницкой свернул я в переулок,
Толпу разлук оставив до поры.

Лишь тень моя составила мне пару.
Чуть наискось и впереди меня,
Шурша, бежала тень по тротуару,
Спасаясь от губительного дня.

Шаги пошли уже за третью сотню,
Мы миновали каменный забор,
Как вдруг она метнулась в подворотню,
И я за ней прошел в зеленый двор.

Шумели во дворе густые липы,

Старинный терем прятался в листве,
И тихие послышались мне всхлипы,
И кто-то молвил: «Тяжко на Москве...

Умчишь по государеву указу,
Намучили меня дурные сны.
В Орде не вспомнишь обо мне ни разу,
Мне ждать невмочь до будущей весны».

Ливмя лились любовные реченья,
Но был давно составлен приговор
Прообразам любви и приключенья,
И молча я прошел в соседний двор.

На том дворе опять шумели липы,
Дом с мезонином прятался в листве,
И ломкий голос: «Вы понять могли бы,
Без аматёра тяжко на Москве.[117]

Сейчас вы снова скачете в Тавриду,
Меня томят затейливые сны.
Я не могу таить от вас обиду,
Мне ждать нельзя до будущей весны».

Нет, я не взял к развитию интригу,
Не возразил полслова на укор,
Как дверь, закрыл раскрывшуюся книгу
И медленно пошел на третий двор.

[117] *Аматёр* — поклонник (франц.).

На нем опять вовсю шумели липы,
Знакомый флигель прятался в листве,
И ты сказала: «Как мы несчастливы,
В сороковые тяжко на Москве.

Вернулся с финской и опять в дорогу,
Меня тревожат тягостные сны.
Безбожница, начну молиться богу,
Вся изведусь до будущей весны».

А за тобой, как будто в Зазеркалье,
Куда пройти пока еще нельзя,
Из окон мне смеялись и кивали
Давным-давно погибшие друзья.

Меня за опоздание ругали,
Пророчили веселье до утра...
Закрыв лицо тяжелыми руками,
Пошел я прочь с последнего двора.

Не потому ли шел я без оглядки,
Что самого себя узнал меж них,
Что были все разгаданы загадки,
Что узнан был слагающийся стих.

Не будет лип, склонившихся навстречу,
Ни теремов, ни флигелей в листве.
Никто не встанет с беспокойной речью,
Никто не скажет: «Тяжко на Москве».

Вы умерли, любовные реченья,
Нас на цветной встречавшие тропе.
В поступке не увидеть приключенья,
Не прикоснуться, молодость, к тебе.

Бесчинная, ты грохотала градом,
Брала в полон сердца и города...
Как далека ты! Не достанешь взглядом...
Как Финский[118], как Таврида и Орда.

Захлопнулись ворот глухие вежды,
И я спросил у зноя и жары:
«Вы верите в зеленые надежды,
Вы верите в зеленые дворы?»

Но тут с небес спустился ангел божий
И, став юнцом сегодняшнего дня,
Прошел во двор — имущий власть прохожий, —
Меня легко от входа отстраня.

Ему идти зелеными дворами,
Живой тропой земного бытия,
Не увидать увиденного нами,
Увидеть то, что не увижу я.

На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

[118] Финский фронт (Наровчатов был участником Финской войны).

1966

Сергей Наровчатов (1919—1981)

Мой дождь, мой день

Серый день, ни то ни се, обыденное.
Серенький денек, ни то ни се —
сызнова увиденные
закрывают всё.

Под дождем распяленные зонтики
и плащей рои
всю цветистость мира, всю экзотику
закрывают, потому — мои.

Чувства ветхие и древние,
вечные, словно слеза.
Улица моя. Моя деревня.
Город мой. Моя стезя.

Вечные, как век мой, пусть не дольше.
Дольше — ни к чему.
Серый мой денек и частый дождик,
по плащу шумящий моему.

Борис Слуцкий (1919—1986)

Неореализм

Жизнь одинокого мужчины,
Интеллигентного таксиста,
Как будто из кинокартины
Во вкусе неореалиста.

Осенний вечер. Час десятый.
От фонарей не много свету.
Закуривает сигарету,
Достав ее из пачки мятой.

Подкидывает на ладони
На счастье мелкую монету.
Поднявши воротник болоньи,
Закуривает сигарету.

Заходит в бар. Берет газету
И улыбается скрипачке.
Закуривает сигарету,
Достав ее из мятой пачки.

Он пьет, чего-то ожидает,
Глядит с улыбкой виноватой.
И сигарету зажигает,
Достав ее из пачки мятой.

Вновь выпивает напоследок.
Сереет. Близится к рассвету.
— Ну что же, можно жить и эдак! —
Закуривает сигарету.

1965

Давид Самойлов (1920—1990)

* * *

На Тихорецкую состав отправится.
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые…
Платочки белые, глаза печальные.

Одна в окошечко гляжу, негрустная,
И только корочка в руке арбузная.
Ну что с девчонкою такою станется?
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется…
Вагончик тронется, перрон останется.

Начнет выпытывать купе курящее
Про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба — пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я…
С кем распрощалась я, вас не касается.

Откроет душу мне матрос в тельняшечке,
Как тяжело на свете жить бедняжечке.

Сойдет на станции и распрощается.
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется…
Вагончик тронется, а он останется.

На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые…
Платочки белые, глаза печальные.

1961

Михаил Львовский (1919—1994)

* * *

Гора
Ты и Я
Гора
Мы ведь друзья
Гора
Разреши мне с тобой объясниться
Гора
Я имею право напиться
Гора
Ты мне киваешь
Гора
Ты меня понимаешь

Гора
Теперь уходи
Пора
Гора
Я желаю тебе добра

Игорь Холин (1920—1999)

* * *

Я Геккельберри Финн,
Я самый первый хиппи —
Откалываю финт,
Плыву по Миссисипи.
Над нами звезд поток,
В руке бутылка джину:
Я отхлебну глоток,
А остальное Джиму.
Ах, где-то есть тот край
(Молва не так уж лжива!),
Где оборванцам рай,
А неграм особливо.
И я не поверну,
Пока седым не стану.
Потом рукой махну
И к берегу пристану.
Мне берег скажет:
«Друг!
Мы так тебя искали...»
И с тетей Полли вдруг

Заплачет тетя Салли.

Лев Друскин (1921—1990)

* * *

Я не совсем уверен,
Что тебе нужны были твои пышные плечи,
Грудь, поднимавшаяся от вздохов,
Густая корона волос.

Когда всё это изрядно поизносилось и досталось могильщикам,
На кладбище осталась счастливая девочка,
Вот она перескакивает с одного могильного холмика на другой;
В руке ее легкий сачок,
Она ловит бабочек, лето, смерть.

Вениамин Блаженный (1921—1999)

Квартира

Здесь дом, куда вовеки не войти мне,
и двор, зажатый каменным каре,
направо дверь…Что может быть интимней,
чем полумрак подъезда в сентябре,
когда лучи не достают до окон
и лампочки не светят допоздна,
а если дождь гремит по водостокам,
и вовсе эта лестница темна.
Шагнуть бы в эти сумерки и споро

подняться по ступеням, а затем
нырнуть в знакомый хаос коридора,
где сундуки соседские вдоль стен,
где на крюках висят велосипеды,
салазки загораживают путь,
где было всё — и радости, и беды,
которых, к сожаленью, не вернуть,
хоть этот мир до боли узнаваем:
хор перебранки в кухне, визг пилы,
стук молотка, скрипучие полы —
всё это было коммунальным раем,
теперь достойным всяческой хулы.
Убогий быт, несчастная эпоха,
но как ее теперь ни назови,
всё это было в дни царя Гороха
порой надежд, печали и любви.

1989

Александр Ревич (1921—2012)

* * *

З.Ф.

Зимние яблоки. Не скороспелые.
Поздние. Твердые. Зрелые. Целые.

Ливнем их било. Грозой колошматило.
Солнце им было суровою матерью.

Ветки сгибались, и листья ржавели —
Яблоки зрели. Яблоки зрели.

Сара Погреб (1921—2019)

Как показать зиму

...но вот зима,
и чтобы ясно было,
что происходит действие зимой,
я покажу,
как женщина купила
на рынке елку
и несет домой,
и вздрагивает елочкино тело
у женщины над худеньким плечом.
Но женщина тут, впрочем,
ни при чем.
Здесь речь о елке.
В ней-то всё и дело.
Итак,
я покажу сперва балкон,
где мы увидим елочку стоящей
как бы в преддверье
жизни предстоящей,
всю в ожиданье близких перемен.
Затем я покажу ее в один
из вечеров
рождественской недели,
всю в блеске мишуры и канители,

как бы в полете всю,
и при свечах.
И наконец,
я покажу вам двор,
где мы увидим елочку лежащей
среди метели,
медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.
Безлюдный двор
и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой,
ах, боже мой,
как время пролетело.
Что день хоть и длинней, да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.
Здесь речь о елке.
В ней-то всё и дело.

Юрий Левитанский (1922—1996)

Я такое дерево

Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый,
Всегда зеленый — и зимой, и осенью.
Ты хочешь, чтобы я был гибкий как ива,
Чтобы я мог не разгибаясь гнуться.

Но я другое дерево.

Если рубанком содрать со ствола кожу,
Распилить его, высушить, а потом покрасить,
То может подняться мачта океанского корабля,
Могут родиться красная скрипка, копье, рыжая или белая палуба.
А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу.
Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили.
Нет, я этого не хочу.
Не потому что я лучше других деревьев.
Нет, я этого не говорю.
Просто я другое дерево.

Говорят, если деревья долго лежат в земле,
То они превращаются в уголь, в каменный уголь,
Они долго горят не сгорая, и это дает тепло.
А я хочу тянуться в небо.
Не потому что я лучше других деревьев, нет.
А просто я другое дерево.
Я такое дерево.

1977

Григорий Поженян (1922—2005)

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,

и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,[119]
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя — как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,[120]
слетает позы позолота.
Никто — ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,

[119] *Жмот* — скупой человек; скряга.
[120] *Гаврик* — жуликоватый человек, пройдоха.

как все, придуман ненароком.
Всё тише, всё обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

1965

Борис Чичибабин (1923—1994)

Обзор

Замри на островке спасенья
В резервной зоне,
Посреди
Проспекта —
И покорно жди,
Когда спадет поток движенья.

Вот мимо запертых ворот,
Всклокоченный и бледный некто,
По левой стороне проспекта
Как революция идет.

Вот женщина
Увлечена
Ногами длинными своими.
Своих прекрасных ног во имя
Идет по улице она.

Александр Межиров (1923—2009)[121]

[121] Ме́жиров.

Голубой шарик

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало прожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

Булат Окуджава (1924—1997)

Просто

Заглохший сад. Старинный дом.
Звезда в пруду не гаснет, не дробится.
...Старинный том, и в томе том
Когда-то кем-то загнута страница.

Александр Цыбулевский (1928—1975)

Муравей

Извилист путь и долог.
Легко ли муравью

Сквозь тысячу иголок
Тащить одну свою?

А он, упрямец, тащит
Ее тропой рябой
И, видимо, таращит
Глаза перед собой.

И думает, уставший,
Под ношею своей,
Как скажет самый старший,
Мудрейший муравей:

«Тащил, собой рискуя,
А вот, поди ж ты, смог.
Хорошую какую
Иголку приволок».

1960

Владимир Соколов (1928—1997)

Семейная фотография

Натягиваю новую матроску,
И поправляет бабушка прическу,
На папе брюки новые в полоску,
На маме ненадеванный жакет,
Братишка в настроении отличном,
Румян и пахнет мылом земляничным

И ждет за послушание конфет.
Торжественно выносим стулья в сад,
Фотограф наставляет аппарат.
Смех на устах. Волнение в груди.
Молчок. Щелчок. И праздник позади.

1969

Валентин Берестов (1928—1998)

Храм

вверх выдыхаю
плотный воздух
взлетают колонны
скругляются арки
всё толще стены

выдохи сильные
вылепят купол
легкий и звучный
подул — там витраж
подул — там алтарь

каждое утро
так! воздвигаю
светлым желанием
строю дыханием
незримый собор

Генрих Сапгир (1928—1999)

* * *

Ем я листья и коренья,
Стойко мокну под дождем,
Постигая суть смиренья
Эмпирическим путем.

Снасть чиню, латаю крышу,
Саламандр творю в печи.
Всё, что можно слышать, слышу,
Преломляю все лучи.

Жизнь проста, запросы мелки;
Чуть стемнеет — спать ложусь.
Пребывая в Погорелке,
В центре мира нахожусь.

28 июня 1984. Погорелка[122]

Александр Флешин (1928—2005)

Прощальная песня

Но прости-прощай,
Хлебом не стращай,
Я ведь шла не для

[122] С 1979 года с весны до осени Флешин жил в деревне Погорелка Горьковской (Нижегородской) области в приобретенной избе. Погорелка стоит на реке Ветлуге в семи километрах от одноименного городка.

Твоего рубля,

Я ведь шла к тебе,
Как судьба к судьбе,
Как к добру добро,
Как к ребру ребро,
Как к крылу крыло,
Да не приросло
К одиночеству
Одиночество.

1975

Инна Лиснянская (1928—2014)

* * *

На свете нет
Запретных нег.
И лучший цвет —
Рассветный снег.

Та белизна
С голубизной
Из полусна,
Где голый зной.

Та смуглота,
В которой юг.
И роза рта,

И стебли рук.

Расту, расту
Не в высоту,
А в глубину,
В свою вину.

Во мглу, к греху,
Что кровь ожег.
А наверху
Снежок, снежок...

1962—1967

Николай Шатров (1929—1977)

* * *

Жалею взрослых — заскорузлых,
закованных корою лет,
кому тесниться в жестких руслах:
автобус, очередь, обед;

за взгляды их из зазеркалий,
лиц ретушь, отстраненность глаз,
за то, что жизни их едва ли
не половина — напоказ;

за скудность их и нудноватость,
за эти «эх» и «так-то, брат»,

за тщетность всю и виноватость
утех, за тишину утрат;

за то, что в них порой ребенок,
перепугавшийся во сне,
один, чтоб свет зажечь, спросонок
рукою шарит по стене.

1977

Марк Самаев (1930—1986)

Замыкание времени

…А завтра я приду опять
Пустые поезда встречать.

Дождь. Отсыреет мой табак.
Опять — вагонов мокрый лак,
Асфальт платформ, и ртутный свет,
И поезд, и тебя в нем нет…
Платформа ждет.
Из пустоты —
То чемоданы, то зонты,
И делает пустой ее
Отсутствие твое…

И тот же поезд, и вагон,
И те же люди — на перрон,
И кончик стрелки — тот же круг:

А вдруг…

Но тот же дождь, и тот же свет,
Как будто много лет
Я ожиданье берегу.
Я столько ждал,
Что спать смогу!
Уйду и высплюсь, а потом
Вот тут же встану под дождем,
И та же стрелка круг замкнет,
И поезд снова тот…

И я стою.
И свет стоит.
И дождь.
И даже этот ритм,
Как будто пущен фильм кольцом:
Начало склеено с концом,
Как будто осужден всегда
Встречать пустые поезда.
А завтра я приду опять
Пустые поезда встречать…

1967

Василий Бетаки (1930—2013)

Самолетик

Целовались в землянике,

Пахла хвоя, плыли блики
По лицу и по плечам;

Целовались по ночам
На колючем сеновале
Где-то около стропил;

Просыпались рано-рано,
Рядом ласточки сновали,
Беглый ливень из тумана
Крышу ветхую кропил;

Над Окой цветы цвели,
Сладко зонтики гудели,
Целовались — не глядели,
Это что там за шмели;

Обнимались над водой
И лежали близко-близко,
А по небу низко-низко —
Самолетик молодой...

1975

Дмитрий Сухарев (1930—2024)

Автоэпитафия

Жил я в Химках. Гладил кошку.
Спал с женою. Ел картошку.

Водку пил. С женою ладил.
Ел пельмени. Кошку гладил.

Герман Плисецкий (1931—1992)

* * *

Вагоны — это стулья,
А паровоз — кровать,
А если ты не веришь,
То можешь
Не играть.

Роман Сеф (1931—2009)

* * *

Городок одноквартальный.
Дождь идет провинциальный.
У конторы дремлет «газик».
На крыльце под струйкой — тазик.
За углом в пустой столовке
режут лук — хрустят головки.
На реке в тоске-печали
пароход повыл — отчалил.
Пробираясь в дом культуры,
чьи-то горбились фигуры.
Две собаки, зло и шустро,
объяснялись в нежных чувствах.
Нахлобучив капюшон,

был я весел и смешон.
Мой ботинок острым носом
загибался вверх
с вопросом.

1969

Глеб Горбовский (1931—2019)

* * *

Волга-река.
И совсем по-домашнему:
Истра-река.
Только что было поле с ромашками…
Быстро-то как!..

Радуют не журавли в небесах,
а синицы в руках…
Быстро-то как!
Да за что ж это, Господи?!
Быстро-то как…

Только что, вроде, с судьбой расплатился —
снова в долгах!
Вечер
в озябшую ночь превратился.
Быстро-то как…

Я озираюсь. Кого-то упрашиваю,

как на торгах…

Молча подходит Это.

Нестрашное…

Быстро-то как…

Может быть, может быть, что-то успею я

в самых последних строках!..

Быстро-то как!

Быстро-то как…

Быстро…

1994

Роберт Рождественский (1932—1994)

Колыбельная

Сестре Ленке

Стих давно трамвайный говор,

Ходят, бродят сны,

Ночь одела спящий город

В ласковую синь.

Осторожно улыбаясь,

Прыгнул на карниз

Хитрый-хитрый лунный заяц,

Сел и смотрит вниз.

Открывать окно не надо,

Надо крепко спать —

Зайка сам придет из сада
Что-то рассказать;

Золотистых-золотистых,
В капельках росы,
Принесет холодных листьев,
Чудный сон приснит.

Роальд Мандельштам (1932—1961)

Не найдут

Страшно как-то
хочется спрятаться

подпрыгну
ухвачусь за край
подтянусь на руках
влезу на антресоль
зароюсь в старые журналы
и затихну

будут искать
будут аукать

так им и надо!

главное не чихать
тогда и не найдут

1969

Геннадий Алексеев (1932—1987)

* * *

Проходят годы
и молодеют
лица на фотографиях

Владимир Бурич (1932—1994)

Белые ночи в Архангельске

Белые ночи — сплошное «быть может»…
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, солнце, а может, луна.
Может быть, с грустью, а может, с весельем,
может, Архангельском, может, Марселем
бродят новехонькие штурмана.

С ними в обнимку официантки,
а под бровями, как лодки-ледянки,
ходят, покачиваясь, глаза.
Разве подскажут шалонника гулы,[123]
надо ли им отстранять свои губы?
Может быть, надо, а может, нельзя.

Чайки над мачтами с криками вьются —

[123] *Шалонник* — юго-западный ветер.

может быть, плачут, а может, смеются.
И у причала, прощаясь, моряк
женщину в губы целует протяжно:
«Как твое имя?» — «Это не важно…»
Может, и так, а быть может, не так.

Вот он восходит по трапу на шхуну:
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»
Ну, а забыл, что не знает — куда.
Женщина молча стоять остается.
Кто его знает — быть может, вернется,
может быть, нет, ну а может быть, да.

Чудится мне у причала невольно:
чайки — не чайки, волны — не волны,
он и она — не он и она:
всё это — белых ночей переливы,
всё это — только наплывы, наплывы,
может, бессоницы, может быть, сна.

Шхуна гудит напряженно, прощально.
Он уже больше не смотрит печально.
Вот он, отдельный, далекий, плывет,
смачно спуская соленые шутки
в может быть море, на может быть шхуне,
может быть, тот, а быть может, не тот.

И безымянно стоит у причала —
может, конец, а быть может, начало —
женщина в легоньком сером пальто,

медленно тая комочком тумана, —
может быть, Вера, а может, Тамара,
может быть, Зоя, а может, никто…

1964

Евгений Евтушенко (1932—2017)

* * *

Что выделывают голуби
В вышине над головой
Между стен, как будто в проруби
Беспредельно голубой!
...Что выделывают голуби
Над Бутырскою тюрьмой.

1967

Юрий Смирнов (1933—1978)

* * *

Они называют меня стариком, стариком, стариком,
а я не старик, старик, старик.
Я просто с горы качусь кувырком, ком, ком,
и надо мне сдерживать крик, крик, крик.
И я расшибусь весь, в пух, в прах,
мне это известно из лучших старинных, зачитанных книг,
и скатертью снежной лягу на тех пирах, горах, мирах...

А вы мне — старик, старик, старик.

Владимир Жилин (1933—2002)

* * *

Лежат велосипеды
в лесу в росе.
В березовых просветах
блестит шоссе.

Попадали, припали
крылом — к крылу,
педалями — в педали,
рулем — к рулю.

Да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей.

Большие, изумленные,
глядят с земли.
Над ними — мгла зеленая,
смола, шмели.

В шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат. О них забыли.
И спят, и спят.

1957

Андрей Вознесенский (1933—2010)

* * *

Рае

Туманный дождик тише тишины.
Серебряное облако лежит
отсюда — до Николы и Ключей.
Ты без платка передо мной стоишь,
и палехская золотая низь
унизывает волосы твои.
В лесу еще сугробы. Дышит лес.
О раменье кругом едва-едва[124]
белеет наледь. Поздний месяц май.
Зажги свечу в холодном сельнике,[125]
дохни — и душу видно: ра-ду-га...
И погаси...

Владимир Леонович (1933—2014)

* * *

В Тувинском музее
имени Шестидесяти богатырей
собраны камни

[124] *Ра́менье* — деревня, селение под лесом (Даль).
[125] *Се́льник* — холодный чулан или кладовая.

с древнетюркскими надгробными надписями.
Некоторые элементы надписей
настойчиво повторяются:
«небо», «земля», «не насладился», «увы».

Владимир Британишский (1933—2015)

Баба Лю

Г. Нерпиной

Баба Юля, баба Люля, баба Юль…
Луг. Покосы. Абрикосы. Сад. Июль.
Абрикосы на тарелочке делю:
Этот мне, а этот, круглый, бабе Лю.
Вот проходит за забором почтальон,
Что-то страшное в конверте прячет он.
Папа с мамою — у них большая власть —
Все хотят меня у бабушки украсть.
Как бессовестная рыжая лиса,
Унесут меня за темные леса.
Папа с мамою сегодня мне враги,
Котик-братик, если слышишь, помоги.

Александр Тимофеевский (1933—2022)

* * *

Если начнется дождь,
всё равно буду стоять у букиниста.
Если начнется война,

всё равно буду стоять у букиниста.
И если меня не будет,
всё равно буду стоять у букиниста —
незримый, как ветер,
шевелить листы пожелтевших книг.

Александр Морев (1934—1979)

Чистопрудный вальс

Развернется трамвай или, можно считать,
Всё вокруг развернет.
И отпрянет от стекол примет нищета —
Этот снег, этот лед,
Промелькнут апельсины в усталой руке,
А на том вираже
Тонкий девочкин шарф на наклонном катке,
Улетевший уже.

Вся картинка, что названа этой зимой,
Так ясна, так резка —
И присевший щенок, и мгновенной семьей
Пять мужчин у ларька.
Снег висит между темных дневных фонарей
И гляжу, не пойму —
Надо что-то о жизни запомнить скорей —
Почему, почему?..

1969

Александр Аронов (1934—2001)

Смерть

Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида

ее домотканого платья.

О, как тихи снега,
словно их выровняли
крылья вчерашнего демона,

о, как богаты сугробы,
как будто под ними —
горы языческих

жертвоприношений.

А снежинки
всё несут и несут на землю

иероглифы бога…

1960

Геннадий Айги (1934—2006)

* * *

Светит месяц

Месяц светит

Месяц
светит
светит
светит

Высоко висит

Висит

И совсем совсем
не весит

Всеволод Некрасов (1934—2009)

Песня про котел

В тиши весенней,
В тиши вечерней,
Вблизи от прерий,
Вдали от гор
Стояла ферма,
Стояла ферма,
А возле фермы
Пылал костер.

В котле широком
Кипело что-то,
А рядом
Кто-то
Сидел — мечтал...
Котел кипящий —
Огонь шумящий
Ему о чем-то
Напоминал.

Вот ночь настала —
Костра не стало:
Последний уголь
Погас,
Погас...
А тот, сидящий,
В огонь смотрящий, —
Он тоже скрылся,
Скрылся
Из глаз...

И мы не знаем,
Ах, мы не знаем:
Был или не был
Он на земле,
Что в тихом сердце его
Творилось
И что варилось
В его котле.

1961

Новелла Матвеева (1934—2016)

* * *

Мне на плечо сегодня села стрекоза,
Я на нее глядел, должно быть, с полчаса,
И полчаса — она глядела на меня,
Тихонько лапками суча и семеня.
Я с ней по Невскому прошел, зашел в кафе,
Оттуда вышел я немного подшофе,
Она не бросила меня, помилуй бог,
Глядела пристально, сменив лишь позу ног.
Нечто невнятное влекло ее ко мне,
Должно быть что-то, привнесенное извне,
Какой-то запах, или спектр волновой,
Или сиянье над моею головой.
Я дал конфетку ей — смутилась, не взяла,
Ее четыре полупризрачных крыла,
Обозначая благодарность и отказ,
Качнулись медленно и робко пару раз.
Что делать с нею? Отнести ее домой?
Но, вероятно, это ей решать самой.
Просить меня оставить? Но она
Как бы отсутствует, в себя погружена.
Да, способ есть простой прогнать ее с плеча:
Им повести слегка и вздрогнуть сгоряча,
Но вдруг я так необходим ей, что она

Подобным жестом будет сверхпотрясена?
...Сиди, убогая! Войди со мной в метро,
Проедь бесплатно, улыбнувшись мне хитро,
Кати на дачу ты со мною или в бар,
В немой взаимности — мы лучшая из пар,
Когда расстаться нам — решишь ты всё сама,
Быть может, нас с тобою разлучит зима
Или внезапное решение,
Тогда
Рубашку скину я, быть может, — навсегда.

Сергей Вольф (1935—2005)

* * *[126]

Что с тобой, поэт? Был ты музе брат,
А теперь ты сед, ничему не рад.
После всех утрат речь темна твоя:
Я НЕ МУЗЕ БРАТ — СТАР, БЕЗУМЕН Я!

Илья Фоняков (1935—2011)

Белоснежный сад

А летят по небу гуси да кричат,
в красном небе гуси дикие кричат,
сами розовые, красные до пят.
А одна не гусыня —
белоснежный сад.

[126] Из цикла «Палиндромоны».

А внизу, сшибая гоп на галоп,
бьется Игорева рать прямо в лоб.
Сами розовые, красные до пят,
бьются Игоревы войски
да кричат:

«У татраков оторвать да поймать.
Тртацких девок целоком полонять.
Тртачки розовые, красные до пят,
а тртацкая царица —
белоснежный сад».

Дорогой ты мой Ивашка-дурачок,
я еще с ума не спятил, но молчок.
Я пишу тебе сдалёка, дорогой,
и скажу тебе, что мир сейчас другой.
Я сижу порой на выставке один,
с древнерусския пишу стихи картин.
А в окошке от Москвы до Костромы
всё меняется, меняемся и мы.
Всё краснеет, кровавеет всё подряд.
Но еще в душе белеет
белоснежный сад.

Станислав Красовицкий (1935)

* * *

Жизнь прошла, и я тебя увидел

в шелковой косынке у метро.
Прежде — ненасытный погубитель,
а теперь — уже совсем никто.

Всё-таки узнала и признала,
сели на бульварную скамью,
ничего о прошлом не сказала
и вину не вспомнила мою.

И когда в подземном переходе
затерялся шелковый лоскут,
я подумал о такой свободе,
о которой песенки поют.

Евгений Рейн (1935)

* * *

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своем народе!

1957, Приютино

Николай Рубцов (1936—1971)

* * *

С трамплина
прыгнул
лыжник!
Он взвился ввысь,
смеясь.
Вот он летит,
летит,
летит по направлению к земле,
забыв про всё земное.
Вот он обозревает горизонты
и орлиным оком
выискивает маленький флажок,
обозначающий рекорд.
Вот он парит над нами
невесомо
и как бы
ничего не ведает о том,
что скоро
метели отойдут в небытие,
сугробы рассосутся
и зарастет травой
раскатанный каток.
Что скоро
черные, голодные грачи
к нам прилетят, крича,
на настоящих крыльях.
Что скоро
до тла растает
его любимая вершина

и будет выглядеть
дурным анахронизмом
катание на лыжах
даже с прекрасных
Кавголовских
гор![127]

Сергей Куллэ (1936—1984)

* * *

Какая сила — смерть: ее приход —
Защита человеку от неволи,
Спасенье от безумия и боли,
Берущих в свой жестокий оборот!
Какая сила — смерть: она зовет
В высокий строй работы и молитвы
И очищает праведностью битвы
Душевный окоем и небосвод.
Какая мера — смерть: она дает
Оставшимся крутой масштаб потери
И стережет, как ангел, наши двери
От мелочности суетных невзгод.
Какая правда — смерть: она кладет
Предел самообману…

С 1 на 2 сентября 1974

[127] *Ка́вголовские горы* (также: То́ксовские высоты) находятся во Всеволожском районе Ленинградской области.

Мария Андреевская (1936—1985)

Мечта

Как-нибудь, когда-нибудь,
Вырвавшись на волю,
Мы с тобой направим путь
К лесу или к полю.

Время даром не губя,
Двинемся тропою.
Я возьму с собой тебя,
Я возьму с собой себя,
Чтобы быть с тобою.

Ну а ты возьмешь сачок,
Удочку и мячик,
Потому что дурачок,
Потому что мальчик.

1965

Нонна Слепакова (1936—1998)

* * *

Игорю Холину

Стоит Крест.
И люди окрест.
И никакого протеста.

А кто-то даже ест.
— А что ест-то?
— Да что-то из теста.
Ну и место.

Леонид Виноградов (1936—2004)

* * *

Вот оно, теплое небо,
вот он, сходящий свет,
вот оно, всё, что немо,
заговорило в ответ,
заговорило, запело,
заколоколило,
облако белопенно
к нам возглаголило,
травы шептали тихо,
лес голосил что есть сил,
тенькала паутина
между поющих осин,
яблоко к речи поспело,
с крынками спелся плетень,
и подползти не посмела
молчаливая тень.

1981

Наталья Горбаневская (1936—2013)

Рай

(песня)

Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И с яркою стеной

А в городе том сад
Всё травы да цветы
Гуляют там животные
Невиданной красы

Одно как рыжий огнегривый лев
Другое — вол, преисполненный очей
Третье — золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый

А в небе голубом
Горит одна звезда
Она твоя о Ангел мой
Она всегда твоя

Кто любит тот любим
Кто светел тот и свят
Пускай ведет звезда тебя
Дорогой в дивный сад

Тебя там встретит огнегривый лев
И синий вол преисполненный очей

С ними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый

1972

Анри Волохонский (1936—2017)

* * *[128]

Догорай, моя лучина, догорай!
Всё, что было, всё, что сплыло, догоняй.

Да цыганки, да кабак, да балаган,
только тройки —
по кисельным берегам.

Только тройки — суета моя, судьба,
а на тройках по три ворона сидят.

Кто он, этот караван и улюлюк?
Эти головы оторваны, старик.
А в отверстиях, где каркал этот клюв,
по фонарику зеленому стоит.

По фонарику — зеленая тоска!
Расскажи мне, диво-девица, рассказ,
как в синицу превратился таракан,
улетел на двух драконах за моря...

[128] Из цикла «Последние песни Бояна».

Да гуляй, моя последняя тоска,
как и вся больная родина моя!

Виктор Соснора (1936—2019)

* * *

Пути (Происхождение забыто —
Аллея или просека впадает в пруд
С озерной живностью и флорою. На венах
Корней запекшаяся голубая кровь.
В чертополохе белый камень зябко
Плечом поводит.) лиственная молвь
Подобна “не” в местоимениях
“Некто” и “нежность”.

1979

Михаил Еремин (1936—2022)

* * *

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком
на досточке
качаются,

А песенки у них уже кончаются.
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один, другой опустится.
К плечу прибилась бабочка
капустница.
Качаются весь день с утра и до ночи.
Ни горя,
ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем, за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я — один из мальчиков.

1962

Александр Кушнер (1936)

Ходят кони

Ходят кони над рекою,
Ищут кони водопоя,
А к речке не идут —
Больно берег крут.

Ни тропиночки убогой,
Ни ложбиночки пологой.
Как же коням быть?
Кони хочут пить.

Вот и прыгнул конь буланой

С этой кручи окаянной.
А синяя река
Больно глубока.

Юлий Ким (1936)

* * *

Обожал я снегопад,
Разговоры невпопад,
Тары-бары, растабары
И знакомства наугад.

Вот хороший человек,
Я не знаю имя рек,
Но у рек же нет названья —
Их придумал человек.

Нет названья у воды,
Нет названья у беды,
У мостов обвороженных,
Где на лавочках следы.

1973

Геннадий Шпаликов (1937—1974)

* * *

А прикурить от сигареты,

Прильнуть к прижатому огню…
Есть что-то чувственное в этом,
Но не постыдное отнюдь.

Обетованное, как остров,
И даже равнодушный сноб
На миг переживает остро
Внезапной близости озноб.

В ночи навстречу этот дерзкий
Незащищенно-нежный жест:
Ладонью оградить по-детски,
Прикосновением зажечь.

1962

Татьяна Галушко (1937—1988)

* * *

Всё четвертьтона и полумеры
Холостые залпы в пустоту
Пушкин умирает от холеры
Не доехав Болдина версту[129]

Конского навоза листьев дряни
Слиплось на подметках и ступнях

[129] На самом деле Пушкин был вынужден остаться в Болдине из-за холерного карантина осенью 1930 года (при этом в Москве его ждала невеста). Поскольку в это время им было написано большое количество важных произведений, слова «Болдинская осень» стали означать особенно плодотворный период творчества. Здесь же (образно) сказано, что художник не достигает идеала.

Осенью еще готовят сани
И стоят одной ногой в санях

Ноги по задрипанной одежке
Вытянул и выгнулся хребтом
Хрипло просит «дайте мне морошки»[130]
Это он успел сказать потом

В измереньи божеского срока
На расхристе дьявольских стихий
Догорят в библиотеке Блока
Пушкина бессильные стихи[131]

Синь когда-то отшумевших сосен
Пустота сводящая с ума
Что такое Болдинская осень
Я не знаю в Болдине зима

Сергей Чудаков (1937—1997)

* * *

Дерево возле пивного ларька,
Ты мне любимой моей показалось.
Я любовался тобою, пока
Пивом канистра моя наполнялась.

[130] Морошка была последней просьбой Пушкина. Символически просьба о морошке здесь означает просьбу о полноте бытия.
[131] Т. е. бессильные помочь (например, в безвременье). См. стихотворение Блока «Пушкинскому дому» (11 февраля 1921), в котором есть строки: «Пушкин! *Тайную свободу* / Пели мы вослед тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!». Усадьба Блока в Шахматове (и, соответственно, библиотека в ней) была уничтожена пожаром в 1921 году.

Той же прически осенняя медь,
Те же движенья и та же осанка.
Множество милых совпавших примет.
Даже недавно зажившая ранка.

Дерево возле пивного ларька,
Я не решился к тебе прикоснуться
Слабой, дрожащей рукой старика.
Только глядел и боялся очнуться.

Алексей Решетов (1937—2002)

* * *

Не райскою тяжестью розы,
не черной лозою вина,
травою «кукушкины слезы»
богата моя сторона!

Травою «прохладные росы»,
травою «бубенчик молчит»,
травою «кукушкины слезы»,
травою «кузнечик стучит»,

травою «надолго всё это»,
травою «зима далеко»,
травою «колышатся светы»,
травою «на сердце легко».

Евгений Герф (1937—2006)

* * *

Я искал в пиджаке монету
нищим дать, чтоб они не хромали.
Вечер, нежно-сиреневый цветом,
оказался в моем кармане.

Вынул. Нищие только пялятся.
Но поодаль, у будки с пивом
застеснялись вдруг пыльные пьяницы,
стали чистить друг другу спины.

Рыжий даже хотел побриться,
только черный ему отсоветовал.

И остановилось поблизости
уходившее было лето.

Будто тот, кто всё время бражничал,
вспомнил вдруг об отце и матери.

Было даже немного празднично,
если приглядеться внимательней.

1956

Владимир Уфлянд (1937—2007)

25 декабря 1997 года

В сенях помойная застыла лужица. В слюду стучится снегопад.
Корова телится, ребенок серится, портянки сушатся, щи кипят.
Вот этой жизнью, вот этим способом существования белковых тел
живем и радуемся, что Господом ниспослан нам живой удел.
Над миром черное торчит поветрие, гуляет белая галиматья.
В снежинках чудная симметрия небытия и бытия.

Лев Лосев (1937—2009)

Грузинских женщин имена

Там в море парусы плутали,
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал

и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
витало имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» — из окошка звали.
«Натэла!» — голос отвечал...

1957

Белла Ахмадулина (1937—2010)

В полутемной комнате

В полутемной комнате вглядываюсь в былое — главное

высматриваю, как стрелок меткий.
Но в прошлом — ничего славного,
ни одной значительной метки.
Да и что есть главное?
Как его выявить, найти?
Может, это товарняк на Балаклаву,
уходивший с шестого пути?
Может, люди,
далеко не родня кровная,
в мороз лютый
приютившие меня под своей кровлей?
А вдруг та встреча в Твери, на Никольской?
Правда, улица давно переименована
и от чувств угольков не осталось нисколько.
Только скрипит калитка в заборе поломанном…
…Огни ночного города смешиваются и плавно
превращаются в живопись настенную.
Или не было в жизни главного,
или — второстепенного.

Евгений Карасёв (1937—2019)

После войны

В развалинах мерцает огонек,
Там кто-то жив, зажав огонь зубами.
И нет войны, и мы идем из бани,
И мир пригож, и путь мой так далек!..
И пахнет от меня за три версты
Живым куском хозяйственного мыла,

И чистая над нами реет сила —
Фланель чиста и волосы чисты!
И я одета в чистый балахон,
И рядом с чистой матерью ступаю,
И на ходу почти что засыпаю,
И звон трамвая серебрит мой сон.
И серебрится банный узелок
С тряпьем. И серебрится мирозданье.
И нет войны, и мы идем из бани,
Мне восемь лет, и путь мой так далек!..
И мы в трамвай не сядем ни за что —
Ведь после бани мы опять не вшивы!
И мир пригож, и все на свете живы,
И проживут теперь уж лет по сто!
И мир пригож, и путь мой так далек,
И бедным быть для жизни не опасно,
И, господи, как страшно и прекрасно
В развалинах мерцает огонек.

1980

Юнна Мориц (1937)

* * *

«Мир ловил меня, но не поймал...»
Григорий Сковорода

Мир от меня отстал. Возможно, что забыл.
Сказать ли — повезло? Не знаю, не уверен.
Неволюсь тем, что есть. Так, глядя на кобыл,
Судьбу благодарит тяжелобрюхий мерин.

Так басенной лисе не в тему виноград,
Так песенный сурок забил на савояра.[132]
Мир от меня уплыл: ни терний, ни наград,
Лишь зеркало из тьмы подмаргивает яро.

Напрасно я считал, что нет меня среди
Угрюмых долбунов, заносчивых и хитрых.
Напрасно я себе командовал «Следи» —
Но не было меня ни в перечнях, ни в титрах.

Надменность красоты, насмешливость ума
Напрасно я ценил и примерял напрасно.
Навязчивый, как стыд, как вера, как чума,
Кидался на рожон и выглядел непраздно.

Сошло. На нет и с рук. Искомая строка
Колеблется едва, влекома темным даром.
И всё-таки я жив. Невыносим пока.
И ласково дышу на ладан перегаром.

ноябрь 1998

Вячеслав Лейкин (1937)

Плёс

[132] См. картину «Савояр с сурком» Жана-Антуана Ватто (1716 год). Ватто изобразил бродячего музыканта из бедной приальпийской области Савойи, пограничной с Францией. Мы видим подростка с кларнетом и дрессированным сурком, который предсказывает судьбу, вытаскивая из ящика «билетики счастья». Именно такому маленькому бродяге посвящено стихотворение Гёте, положенное на музыку Бетховеном, — «И мой сурок со мною».

Приснившийся под утро Плёс:
и вёсел скрип, и пены сплёв,
и Волги плеск — гладь голубая!
Туман. Баржи недвижный ход,
пятно на воду полагая.
И теплый свет. И ранний холод.

И — солнце! Звон твой на волне,
и золото на валуне!
И сети солнечных морщинок
в пластах воды. И гром колес
телег на улицах мощеных:
приснившийся под утро Плёс.

1964

Михаил Соковнин (1938—1975)

Про дядю Кешу

У старика, у дяди Кеши,
Что любит забивать козла,
Среди седин, на желтой плеши,
Однажды вишня проросла.

По всем ботаники законам
Пустила корни, цвет дала,
Шумит фонтанчиком зеленым,
Жильцы дивятся — вот дела!

Нет счету ягодам багряным,
Крупны и сладки, что твой мед.
На рынке Коптевском стаканом
Их дядя Кеша продает.

И ходит пьяный всю-то осень,
Купил бобровое пальто.
Хоть он старик и хворый очень —
На плеши дерево зато.

Владимир Ковенацкий (1938—1986)

* * *

осенний дождь полуослепший.
в лесу стоит промокший леший,
он безучастно дождик пьет,
кругом сосна ему вздыхает.
пчела в дупле, где воск и мед.
медведь не чует и не знает.
он от дождя бежит в берлогу,
его трава кусает в ногу.
жена, медведица, подруга,
о, жизнь дождливая! как туго!
достать картишки,
поиграть.
играют мишки,
дождь слыхать

1967

Владимир Казаков (1938—1988)

* * *[133]

Не бомжи вы —
Небом живы.

Дмитрий Авалиани (1938—2003)

* * *

Что мне любовь твоя,
Что злоба,
Что ложь,
Что правда —
Всё равно.
Я знаю между нами яму —
Сырую рану луговины детской,
Молчание средь хора насекомых,
И хора птиц,
Ту паузу без плоти,
Ту щель в иное — не хочу туда,
поэтому мы молча кружим рядом
Мы разделили эту тайну взглядом,
Нам не дано вернуть ее обратно,
Мы врозь ее — единую — несем.

1969

[133] Стихотворение-панторифма (каждый его стих целиком является рифмой).

Леонид Ентин (1938—2016)

* * *

...и дверь впотьмах привычную толкнул,
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? — и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился — и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. — И место указал.
— Но ты же умер! — я ему сказал.
А он: — Не говори, чего не знаешь.

Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины и мед
и холодец из поросячьих ножек.

Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:

я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.

В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали всё ясней,
как будто жить грозило ей — а ей
так не хотелось уходить обратно.

И я сказал: — Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду — и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
— Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, — узнаешь — содрогнешься.

И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел — но двери распахнулись,
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей — и слезы навернулись.

И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял — а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознанье смерти или смерть сознанья.

И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

Олег Чухонцев (1938)

Утро

Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма.
Как и легок и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознес его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там — душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь.
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,

посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их, вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!

1966

Леонид Аронзон (1939—1970)

* * *

снова жизни как ветóшку почему-то жаль
занавеску для окошка подобрал февраль
хлеб укроп чеснок солонка каша на плите
одиночество ребенка в взрослой маяте

Александр Рихтер (1939—2016)

* * *

Думаете, кто там светится,
Крышами сверкает? Кто зовет?
Да никто, а просто грезится,
Грезится который год.

Никого там нет у неба синего,
Где мелькало стеклами село,
Нет его в горах, красивого,
Всё из этих гор ушло.

Нету нашей русской деревушки

На Алтае. Не поставят вновь
К лесу пятистенную избушку,
Где мы бились, бедные, с войной.

Вечером вернуться не к кому,
Только к стогу можно подойти
Лесникову, зеленеющему, летнему,
Надавить рукой и отойти.

Иван Овчинников (1939—2016)

* * *

Тем больше понимая игру,
Чем меньше понимая ее,
Жила себе собака в миру,
А Богу было жалко ее.

Чтоб ей не загреметь к палачам
(Там рядом живодерня была),
Он лаял за нее по ночам,
Когда она охрипшей была.

Он ногу за нее волочил,
Отбитую проезжей херней,
Он даже ее плакать учил,
Чтоб легче было жить над землей.

Но кости грызть он ей уступал,
А сам светился в сонме комет.

Бывало, даже ямку копал
Для косточек и старых котлет.

Собака это знала слегка
И думала: «Ему нелегко —
Ни шерсти у него, ни клыка,
Ни глаза с одичалым райком».

И думала: «Он больше меня,
А кажется — я больше, чем он.
Вот бегаю я, цепью звеня,
А слышится его перезвон».

И думала: «Он так мне помог,
Когда ломать хотели хребет.
Я буду называть его Бог,
Ему другого имени нет».

И думала: «А если умру,
То пусть живет другое зверье...»

Тем больше понимая игру,
Чем меньше понимая ее.

Владимир Голованов (1939—2023)

* * *

От ее единственного поцелуя,
прежде чем умереть,

он долго старался выжить,
прикладывал к губам снег, полынь,
прикасался к белой коре березы,
ночами блуждал, искал озёра,
настоянные на корешках упавших звезд,
в туман закутывался,
лечился дальней дорогой,
сном, в котором она была похожа на многих, —
его долго выхаживали другие руки,
его заговаривали другие губы,
ему прописывали шум прибоя, звон посуды,
и он очень долго старался выжить,
и всё-таки лет через сорок умер,
так и не успев почувствовать перед смертью,
то ли теперь наконец они будут вместе,
то ли только теперь
они навсегда расстались.

Вячеслав Куприянов (1939)

* * *

При вопросе: быть — не быть? —
хочется, поверьте мне,
прыгнуть в лодочку и плыть
в сторону бессмертия.

Тихо лодочка плыла бы,
расплывались бы круги,
с берегов кричали бабы

и смеялись мужики:

«Приставай! Косить пора!
Намахались мы с утра!
Вот тебе осталась бражка
да малины полведра!..»

Аркадий Кутилов (1940—1985)

* * *

Снег завесил угасанье
дачного денька.
Станцией и небесами
пахло. Вспомни-ка:
сумерки и снег сгущали
ощущение —
будто всё еще в начале,
всё еще вчерне.

1980

Александр Величанский (1940—1990)

Счастливые фарфоровые дни

Белые фарфоровые слоники,
Один меньше другого,
По полированной пустыне комода
Медленно один за другим

Бредут,
Словно дни
В счастливых мещанских семьях,
Где ничто не происходит,
Где ничто не нарушает
Раз и навсегда установленный
Распорядок дня и ночи
На радость домовитой хозяйке,
Которая каждое утро
Тщательно с них стирает
Мягкой фланелевой тряпочкой
Пыль.

Михаил Крепс (1940—1994)

Осенний крик ястреба

Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры — словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба, это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
— когти в кулак, точно пальцы рук —
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,

точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как падение грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.

Его, который еще горяч!
В черт-те что. Всё выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.

Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая "вон,
там!" видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски «Зима, зима!»

1975

Иосиф Бродский (1940—1996)

* * *

В одной близи далекой
нежители живут,
питаются морокой,
котомочку грызут.

Хлебают хлеб горячий
среди густых болот,
царем у них незрячий
и добрый идиот.

Они одеты в моду
и мчатся не спеша,
да молятся комоду,
потом его круша.

В погожую погоду
стремятся в никуда,

в зеленую неводу
бросая невода...

1997

Платон Кореневский (1940—2003)

Гнездо над радугой

Всё успокоилось в природе
Гроза ушла обратно в небо
А небо село на Олимпе
И пело птичкой золотой

Как вить из нитей грома нежность
Как грубость грома выпить с медом
Чтоб небо село на Олимпе
И пело птичкой золотой

Лететь над облаком железным
Веселой тварью обладая
И лед Олимпа умножая
Пленяться птичкой золотой

И петь, чтоб лед не лился воском
В кристаллах множества Алтаев
И то, что мы зовем Олимпом
Нам пело б птичкой золотой

И посмотреть на это небо

От края радуги до края
Где эта птица золотая
Свила над радугой гнездо

1998

Алексей Хвостенко (1940—2004)

* * *

Какой красивый бантик! —
Вот я и весел.
А может, не бантик, а пуговица —
Вот я и застегнут.
А может и не пуговица, а орден —
Вот я и знаменит.
А может не орден, а пуля —
Вот я и умираю.

Дмитрий Пригов (1940—2007)

* * *

Дождь длиннющими
Пальцами в звонкие
Крыши колотит.
Я в бессоннице утонул,
Как в болоте.
Те же голуби,
Как они громко орут!

И старуха внизу
Копошится в грязи.
Те же злые коты.
А старуха — она
Королева!
А над ней этажи,
И коты, как пажи,
А хвосты, как ножи.
Лижут руки ей, лижут.
Окна красные утром
И синие вечером.
Серый колодец
С окнами в никуда.
Какая-то дивная песня
Звучит и звучит,
И бьется о стены.
Так и будет всегда?
Так и будет всегда.

1977

Олег Даль (1941—1981)

* * *

Вот он
Ей-Богу
Вот опять опять
Ты сомневаешься
А, никогда не слышал

А вот — она
О Господи, как в сказке
Она и Он
Как в сказке, говорю
Но вот сереет
Шевельнулось
Будто
Вздохнуло
Будто
Замерло вдали
Качнулось капнуло
Прощай
Настало утро

Кари Унксова (1941—1983)

* * *

Свободно и убого
Под плинтусом у Бога
Старушки разноцветные живут.
Затеплятся рассветы —
Они уже одеты,
И пряники моченые жуют.
По переулкам — «Здрасьте»,
По закоулкам — «Здрасьте»,
Их туфли мальчиковые снуют,
И овощные лавки
Дают им всякой травки,
А управдомы справки им дают.

И мне всё интересней
Их старенькие песни,
И суета сегодняшнего дня.
Косичками белея,
Всё дольше, всё теплее,
Значительнее смотрят на меня.

Гарри Гордон (1941—2026)

* * *

Хороши мои дела —
По ночам всё та же мгла,
По утрам всё та же, та же
Голубая белизна,
И пустынные пейзажи
Наблюдаю из окна.

В неизменности такой
Есть отрада и покой,
Есть надежда, есть привычка,
И судьбы слабеет гнет.
Жизни серенькая птичка
Тонким голосом поет:

«Чик-чирик — святое дело
Жить на свете — чик-чирик,
Чик-чирик — душа и тело,
Чик-чирик — к чему привык».

Чиви-тав — легко и просто
Дни проходят — чиви-тав,
Ты глядишь на них с помоста,
Чиви-тав — не сосчитав.

1976

Марк Рихтерман (1942—1980)

* * *

Две тетрадки на столе
И учебник нераскрытый,
Листья клена видны
Между страниц,
Авторучка, карандаш,
И роман лежит невинный,
У девчонки дрожат концы ресниц.

Вот осенний день, смотри,
Вот он, день спокойный, светлый,
Вот он виден изнутри,
В окнах квартир,
Просто школьница молчит,
Перед ней мальчишка смелый,
Он ее поцеловал, лица овал.

Мама вышла в магазин,
Папа занят по работе,
Не мешает никто

Этой любви,
И уроки подождут,
И для памяти далекой
Сохранится сладкий ход
Этих минут.

Владимир Ивелев (1942—1994)

Куда?

Люди куда-то стоят —
Прямо, потом назад,
В подворотню, сквозь дом,
В угол и снова кругом.
Мы проверили с другом:
Ни лавки, ни продавца.
Люди просто стоят друг за другом
Без начала и без конца.

Олег Григорьев (1943—1992)

* * *

Куда девалась моя жизнь —
на детских мечется простынках,
в солдатских топчется ботинках,
котенком за себя дрожит.

На сумерки пошла, на взвесь
чаинок-птиц над центром города,

на годы разошлась, на годы,
и потеряла вкус и вес.

По звездам не определишься,
а прежний компас размагничен —
куда мне жить, не разберу.

Как доберусь я, поздний, лишний,
буксующий в тоске привычной,
до чьих-нибудь сердец и рук.

Леонид Иоффе (1943—2003)

Возвращение

Охотник выстрелил — ружье дало осечку.
Прохаркала ворона невпопад,
И граммофон наяривал за речкой,
И пахло репами, как жизнь тому назад.

Чего спешим, бездумно тратя силы,
Торопимся вдоль пашен и крушин.
Вернемся ведь — а в доме всё, как было,
И в зеркале — всё тот же гражданин.

Саша Соколов (1943)

* * *

Корочка-горбушка,

аппетитный вид.
Вот он — хлеб насущный
на столе лежит.
Вот он — день, бегущий
точно на пожар.
Вот он — я, несущий
неба синий шар.

1964

Лев Васильев (1944—1997)

* * *

Плачьте, дети, умирает мартовский снег

в марте — хриплое зренье, такое богатство тонов
серого, что начинаешь к солдатам
относиться иначе, теплей, пофамильно, помордно:
вот лежит усредненный сугроб Иванов
вот свисает с карниза козлом бородатым
желтый пласт Леверкус, Мамашвили у края платформы

черной грудой растет, Ататуев Казбек
переживший сгребание с крыши, трепещет
лоскутами белья в несводимых казарменных клеймах...

Каждый снег дотянувший до марта — уже человек
и его окружают ненужные мертвые вещи
а родители пишут ему о каких-то проблемах

да и письма их вряд ли доходят

Виктор Кривулин (1944—2001)

Июль

И ласточки летают допоздна
И яблоки у яблонь округлились.
И летняя пора жарой красна,
И вишни соком уж налились.

И всё еще жасмин цветет,
Благоухающий шиповник.
Природа жизнь свою ведет
Всё полноценней и любовней.

В лесу красно от земляник,
Черно в черничниках зеленых.
И белый гриб во мху возник.
И носики упали с кленов.

И ночью всюду тишина.
И в озере мерцает небо.
Там глубь небес отражена.
И грудь единым на потребу

Полна, и молится душа,
Встречая ясные Петровки,[134]

[134] *Петровки* — многодневный пост в православной церкви, который также называют Апостольским постом. В народном календаре этим словом называют период начала лета, сенокоса и сам праздник святых

В тиши Всевышнему служа.
И всюду Божии коровки.

И бабочки и мотыльки.
В траве кузнечики стрекочут.
И муравья смахнешь с руки.
От комаров чесотки вскочат.

И в небе облаку нельзя
В лазури ясной появиться.
И входишь в лес, тропой скользя,
Земного рая очевидцем.

1992

Олег Охапкин (1944—2008)

Мы ищем

Мы ищем, что́ есть образ и подобие,
как бы воздушное мерещим изваяние:
теней, дуновений межусобие,
зыбей, светов противустояние.

Легкой шуми головой, мыслящее растение!
Нет, отразись под корень в тихой воде мироздания,
как отражает истину твое слабое разумение
о том, что творящий милостину и сам ждет подаяния.

апостолов Петра и Павла. Пост начинается в понедельник, через неделю после праздника Троицы, и длится до 12 июля (дня Петра и Павла).

Ибо сила сильных не больше чем слабость слабых,
когда глас трубный летит, медным гремя платьем,
а в заводи звуковой — стайка нагих скрипок.
Перебегает волна — ветра слепок.
Перетекает душа — тень плоти.
Говорят, она удлиняется на закате.

Аркадий Штыпель (1944—2024)

Обводный канал

А там — Главрыбы и Главхлеба
Немые, пасмурные души
А там промышленное небо
Стоит в канале
И боль всё медленней и глуше
А ведь вначале
Была такая боль…
Дым заводской живет в канале
Чуть брезжит, чуть брезжит осенний день
И буквы вывески Главсоль
Шагают по воде
И мнится: я — совсем не я
Среди заводов и больниц
Продмагазинов, скудных лиц
Я стал молчанием и сором бытия

1969

Сергей Стратановский (1944)

* * *

На семейном старом фото
Улыбающийся кто-то —
Щёки видно со спины.

Видно, был фотограф мастер,
Был он спец по этой части,
Просто не было цены.

Всё бурчал он: «Тише едем…»,
И меня с моим медведем
Папа на колени взял.

Сколько лжи во взрослом мире!
И, разинув рот пошире,
Я напрасно птичку ждал.

Дни идут, года мелькают,
Птичка всё не вылетает,
Мне, должно быть, на беду.

Простучат по крышке комья…
До сих пор с открытым ртом я
Птичку — сволочь эту — жду.

Владимир Ханан (1945—2026)

Скамья в Тригорском

На горе — городище Воронич.
Там пасется одна корова.

Отдохнет, поглядит налево —
на другой горе, над обрывом,
скамейка.

Там какой-то маленький Онегин
что-то говорит Татьяне —
или Ольге? — неважно, для коровы
это далеко и мелко.

Плывут облака кучевые
над Соротью и над лугами —
высокие возы сена.

Вдали — словно рой мошек
раскачивается у горизонта.
Но это не рой мошек,
а лебединая стая.

Это август, Успенье,
последние цветы доцветают.

Такое огромное небо.
Такой маленький Онегин.

Корова плачет.

Григорий Кружков (1945)

* * *

Автобус — как пирог на скатерти,
Ему ль грузовиков в соседи!
И мальчик предлагает матери:
Давай на августе поедем.

А день по-августовски радостный,
И солнце светит что есть мочи.
Ну что ж, поехали на августе
В сентябрь, в октябрь — куда захочешь.

1963

Леонид Киселев (1946—1968)

* * *

Свет заштрихован дождем,
осень — и будто бы виден
крымский неприбранный дом,
нож рядом с горкою мидий.
Сквозь остекленную мглу —
отмель, раскаты прибоя.
Жаль, разобрать не могу,
что говорят эти двое.

1970

Сергей Морозов (1946—1985)

игра

стояли у окна она сказала
есть детская забытая забава
кто счастливей
играют двое правила простые

найди в толпе беременную женщину
быстро сосчитай раз
и ты счастливец
ну что играем начинай

здесь нет толпы заметил он
она: ах боже мой считай скорей считай
и застыдилась
отступила в тень

я белым камешком отмечу этот день[135]

1980-е

Александр Гашек (1946—1993)

*** * ***

[135] В Древнем Риме существовал обычай вести учет дней, кладя белый камешек в специальную урну или мешочек в дни удач и радостей, и черный — в дни неудач. В конце года или перед важным решением по их количеству судили о том, чего в жизни было больше.

Лепестки пиона
осыпаются на траву.
В этом мире зеленом,
красном, белом
и душой, и телом
живу.

Ах, как было бы просто,
если бы было так.
Ивы среднего роста,
ирис, люпин, мак.

Отгородиться забором
и наблюдать в дождь
за всяким зеленым вздором,
набирающим мощь.

Пруд переполнен по камни.
Град пока еще мелкий
не посечет пока мне
распускающиеся безделки.

И чем еще лечиться,
как не одиночеством в травах?
Водка, сарделька, горчица
и небесная слава.[136]

[136] Ср. с понятием «Слава Господня» — христианским термином библейского происхождения, восходящим к иудейскому понятию Шхина и в большинстве случаев означающий форму полного присутствия Божества. Означает также «лучезарное сияние» (ср. англ. *glory*).

Евгений Сабуров (1946—2009)

Зимнее солнце

Заиндевелые деревья заблистали
Стальным и золотым.
Живая статуя на узком пьедестале —
Танцует светлый дым.

Деревья вздрагивают: трепетные искры
Рассыпали ветра.
И воробьи взлетают стайкой — шумной, быстрой,
Легко, как мошкара.

Откинув крышку, по-весеннему светлея,
Рогатый, как бычок,
На зимнем солнышке бачок помойный греет
Чумазый свой бочок.

1973

Зоя Эзрохи (1946—2018)

* * *

Как важно родиться в том городе, где…
Как важно учиться в том классе, в каком…
Как важно водиться с той братией, что…
Родись ты не здесь и учись ты не там,
води ты компанию вовсе не ту —

и вот ты никто, и нигде, и никак.
А если даже — то и тогда.

Михаил Яснов (1946—2020)

* * *

Такой внимательный и хрупкий,
Чуть приглушенный, деловой
Был голос в телефонной трубке —
И твой и, кажется, не твой.

К нему примешивались странно,
Не к месту улучив момент,
Потрескивания мембраны,
Пространства аккомпанемент.

И лишь когда его нарушил
Гудков однообразный строй,
Я понял: я тебя не слушал,
Я слушал только голос твой.

1971

Юрий Колкер (1946—2020)

* * *

Где бабочка раскрылась на окне,
образовалась маленькая книга,

верней, альбом узоров на огне,
молчащих, но цветами ярче крика.

Где распахнулся бабочки альбом,
из памяти моей твои ладони
раскрылись, чтобы мне уткнуться лбом
и всем лицом, чтоб ты осталась в доме.

Но две твои ладони, потеплев,
сложились вместе медленно и кротко,
и на оконном дрогнувшем стекле
образовалась маленькая лодка.

И лодка от окна, как от огня,
отчалила и скрылась в голубое
с цветным альбомом, бабочкой, тобою,
на берегу окна забыв меня.

Владимир Строчков (1946—2023)

* * *

Вячеславу Горбу

Когда в провинции болеют тополя
и свет погас и форточку открыли
я буду жить где провода в полях
и ласточек надломленные крылья
я буду жить в провинции где март
где в колее надломленные льдинки
слегка звенят но если и звенят

им вторит только облачко над рынком
где воробьи и сторожихи спят
и старые стихи мои мольбою
в том самом старом домике звучат
где голуби приклеены к обоям
я буду жить пока растает снег
пока стихи не дочитают тихо
пока живут и плачутся во сне
усталые большие сторожихи
пока обледенели провода
пока друзья живут и нет любимой
пока не тает в мартовских садах
тот неизменный потаенный иней
покуда жилки тлеют на висках
покуда небо не сравнить с землею
покуда грусть в протянутых руках
не подарить — я ничего не стою
я буду жить пока живет земля
где свет погас и форточку открыли
когда в провинции болеют тополя
и ласточек надломленные крылья.

1964

Владимир Алейников (1946—2026)

* * *

когда в пустой осенний сад
придешь ища спасенья

то вдруг поймешь что ты изъят
из обращенья

как гривеник фальшивый тих
закуришь приму
и не поймешь ни слова в них
скользнувших мимо

они мигнут и скроят шиш
сверкнувши ста́тью
а ты — навек принадлежишь
изъятью

изъятью чувств изъятью нерв
изъятью долга
и тяготения к стране
иного толка

ведь ты чужого не возьмешь
и понарошку
ты развернешься и уйдешь
нога за ножку

но горло перехватит сад
что на Садовой
где листья желтые висят
до выходного

1969, 1978

Евгений Вензель (1947—2018)

Мох

Я в году двухтысячном,
Лет трех примерно без,
Где-то под Мытищами
Углубился в лес.
Утречко студеное.
Для подъема сил
Я сел на пень. Вареное
Яичко откусил.
Откусил — и солнышко
Восстало наверху.
Опрокинув горлышко,
Я упал во мху.
Зелень-белень, крошево,
Кашка, клеверок
И всего хорошего
Много между строк.
Между строк, что брошены
Покрываться мхом.
Мхом всего хорошего
Обо всем плохом.

Виктор Коваль (1947—2021)

* * *

Я мечтал подружиться с совой, но, увы,

Никогда я на воле не видел совы,
Не сходя с городской карусели.
И хоть память моя оплыла, как свеча,
Я запомнил, что ходики в виде сыча
Над столом моим в детстве висели.

Я пытался мышам навязаться в друзья,
Я к ним в гости, как равный, ходил без ружья,
Но хозяева были в отъезде,
И когда я в ангине лежал, не дыша,
Мне совали в постель надувного мыша
Со свистком в неожиданном месте.

Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей,
Застывал истуканом у дачных дверей,
Где сороки в потемках трещали,
Но из летнего леса мне хмурилась вновь
Деревянная жизнь, порошковая кровь,
Бесполезная дружба с вещами.

Отвинчу я усталую голову прочь,
Побросаю колесики в дачную ночь
И свистульку из задницы выну,
Чтоб шептали мне мыши живые слова,
Чтоб военную песню мне пела сова,[137]
Как большому, но глупому сыну.

Алексей Цветков (1947—2022)

[137] Ср. с началом стихотворения Державина «Снигирь»: «Что ты заводишь песню военну / Флейте подобно, милый снигирь?»

* * *

Умер дед. Семья сидит у тела.
Самый старый дед в селе Мотково.
Самый-самый старый дед Валера
Будет жить на небе голубом.

Дед отцвел. Про тонкую рябину
Замолчал его аккордеон,
Перед смертью он сходил на почту,
Пацанам раздал аккредитив.

Я-то знал, что деда умирает...
Мы соседи. Через городьбу.
Светлый стал. Глядит невыносимо.
Я сосед его. Колхозный тракторист.

Надо ж быть мальчишкой, кавалером,
Чтоб с такой улыбкой помереть.
Бабы его белым коленкором
Спеленали, будто он родился,
Мужики на белых полотенцах
Отнесли, наверно, в самый рай.

Брат мой, Саша, из пединститута
Раньше брал у дедушки фольклор,
А теперь сидит, тоскует, курит,
Повторяет: замять... синий цвет...

Так мы дедушку весной и схоронили.
День был серенький, но чей-то самолет
Прозвенел над тополем, заврался...
Видно, летчик деревенский был и вот
С нашим дедушкой на небе повстречался.

Александр Денисенко (1947—2023)

* * *

Пришел, ушел, и будто бы не он
Пускал по ветру легкие колечки.
Кто он? Шпион? Трехкратный чемпион?
Или седой из детства почтальон?
Не Печкин, нет! Какой там еще Печкин![138]

А ты гори, заветная звезда.[139]
Одна лишь ты не сука, не училка,
Не белка на заборе, не бутылка,
Не в поросячьем облике копилка.
Ты лишь одна как будто навсегда.

Я это так… Не принимай всерьез.
Сердечные забудутся уколы,
А воз всё там же. Помнишь этот воз?
Он всё скрипел, но никуда не вез.[140]

[138] *Почтальон Печкин* — персонаж популярных мультфильмов конца 70-х — начала 80-х: «Трое из Простоквашино» и др..
[139] Отсылка к романсу «Гори, гори, моя звезда» (написанному в 1846 году композитором Петром Булаховым на слова Владимира Чуевского).
[140] Отсылка к заключительной строке из басни Крылова «Лебедь, щука и рак», ставшей пословицей: «А воз и ныне там».

Не помнишь, нет? Ну как же! Возле школы!

Там еще были липы, был там снег,
Еще чего-то было там такое…
Вот, вспомнил! Шел навстречу человек,
Мне не знакомый. Он достал «Казбек»
И прикурил единственной рукою.[141]

А ты гори, заветная звезда.
Тебя я вижу. А меня ты видишь?
Ты слышишь, как разнылись поезда,
Как на клеенку пролилась вода,
Как переходит бабушка на идиш?

Лев Рубинштейн (1947—2024)

* * *

Смотри, как стареет сосед и его собака.
Как опухоль у нее под брюхом растет.
Как он обреченно курит. Однако,
Он живет и она живет.
Старятся и меняют цвет статные клены.
Она спит под скамейкой, выпятив желтый живот.
Он растекается в воздухе, весь неживой и паленый.
И живет. И она живет.
Дом от их присутствия теряет черты барака,
Стоящего в сыром и неопрятном рву.
Они живут. Сосед и его собака.

[141] То есть, скорее всего, инвалид Великой отечественной войны (1941—1945).

Я их вижу. Следовательно, живу.[142]

Вадим Жук (1947—2025)

* * *

В глубокой траве незабудки растут,
упругий укропчик ромашки,
лилового клевера шишечки тут
и бело-зеленые кашки.

Здесь к деревцу щавеля лютик приник,
сошлись колокольчиков кубки
и трубчатый дюдель настолько велик,
что хочется делать зарубки.

Весь день, созывая, над ними мели
ветра заозерного края...
А ночью в глубокой небесной щели
лежит серебро, ослепляя.

Ферапонтово, 27 июня 1975

Юрий Кублановский (1947)

* * *

может быть в чем-то главном

[142] Ср. с философским утверждением Рене Декарта «Мыслю, следовательно существую» (лат. *Cogito ergo sum*).

он и был уверен
пока однажды в метро
не взглянул на свои руки
вцепившиеся в портфель
потому что боль в животе стала

и вот

это руки старика
у которого ничего нет
кроме портфеля
с чужими книгами

1984

Сергей Магид (1947)

Девятисвечник

Елене Лебедевой

Вот старушка — церковная соня —
Собирает огарки свечей,
А между тем она — храм Соломонов,
Весь позолоченный
И ничей.

Вот одинокая колокольня —
Ни у кого нет от ней ключей,
А между тем она — храм Соломонов
Или прекраснее,

И ничей.

Вот на вершине сидит ворона,
Ежась пред войском зимних ночей,
А между тем она — храм Соломонов,
Еще прекраснее
И ничей.

Вот и дни мои, будто солома,
Недостойные даже печей,
А между тем они — храм Соломонов
Или прекраснее,
И ничей.

Вот и Луна — вкось по небосклону
Туда и сюда, будто качель,
А между тем она — храм Соломонов,
Весь позолоченный
И ничей.

Вот и солнце ходит бессонно,
Яростных с мира не сводит очей,
А между тем оно — храм Соломонов,
Весь позолоченный
И ничей.

Вот и мир весь — в грязи и стонах
И постоялый двор палачей,
А между тем он — храм Соломонов
Или прекраснее,

И ничей.

Вот оно — Имя — в воздуха лоне,
В блеске невидимых мечей,
А между тем оно — храм Соломонов,
Еще прекраснее
И ничей.

Вот и могилка в траве вся тонет,
Над ней не слышно ни слез, ни речей,
А между тем она — храм Соломонов,
Весь позолоченный
И ничей.

Елена Шварц (1948—2010)

* * *

Я перестал лгать
гать
ать
ть
ь!

Я стал непроизносим.

6 мая 1965

Александр Миронов (1948—2010)

* * *

Всё на свете — лишь красные розы и белые ангелы.
Всё на свете: заборы, кафе, асфальт дороги и трещины на нем,
Ушная раковина рыжей машинистки,
Боковой ржавый выброс отработанного дыма с тепловоза,
Чайка в небе, теплый водопровод — всё это лишь розы и ангелы.
Если вы увеличите ушную раковину Натальи настолько,
Что всё встанет на свои места, —
Вы увидите на своих местах красные розы и белых ангелов.
Если вы срежете ноготь с большого пальца и задумаетесь о том,
Что пошло на его постройку, — вы увидите ясно
Ангелов в белом и розы в красных
Лепестках. Если вы заглянете в вену себе боковым зрением,
Вы увидите, как толпятся вослед красным розам белые ангелы.
Самый черный пес — это сильно сгущенный фрагмент
Ангелов, фланирующих по розовой аллее.
Самая далекая зеленая звезда —
Это слишком близкий ангел, которого вы забыли переставить на дальнее зрение.
Наша песня кажется вам неубедительной,
Но убедительны лишь совесть, любовь и истина,
И, пожалуйста, поверьте нам, что они тоже
Состоят из белых ангелов и красных роз,
Как поцелуй, когда за окном снег,
Как губы, когда этот снег пошел в 10 утра.
Из чего состоят сами красные розы и белые ангелы? — спросите вы.
Из движений руки —
Но не всех, а лишь максимально определенных.
Не любой руки, а одной-единственной.

Не той, что можно увидеть, а той, что увидеть нельзя.
Она принадлежит мужчине в перчатке не больше, чем женщине в чулках.
Она рисует силуэт Лики и костыль Хабы.
Она чертит пиджак человека-бабочки в южном небе,
Она проводит линию побережья и арки моста
До тех пор, пока не настанет 666.[143]
И тогда она распадается на маленьких белых ангелов и красные розы,
Чтобы, пройдя страшный суд мертвых маленьких лепестков
И мертвых маленьких ангелов,
Возобновить движение.

Андрей Тавров (1948—2023)

* * *

Мелкий дождь идет на нет,
окна смотрят сонно.
Вот и выключили свет
в красной ветке клена.
И внутри ее темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира.
И глядит она туда,
век не поднимая, —
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая.
В доме шумно и тепло,
жизнь течет простая.

[143] Согласно Откровению Иоанна Богослова, число 666 скрывает имя антихриста.

Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая.
Это музыка в бреду
растеряла звуки.
Но кому нести беду,
простирая руки?
И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и всё. Погашен свет.
Стало тихо в доме.

Иван Жданов (1948)

* * *

Слово на ветер; не оживет, пока
в долгом дыхании не прорастет зерно.
Скажешь «зима» — и всё снегами занесено.
Скажешь «война» — и угадаешь наверняка.

Не говори так, ты же не гробовщик.
Время лечит. Дальняя цель молчит.
Но слово за слово стягивается петля;
всё от него, от большого, видать, ума.

Скоро заглянешь за угол — там зима.
Выдвинешь нижний ящик — а там земля.

2015

Михаил Айзенберг (1948)

Младенчество

Чьи-то руки берут
И подносят к окну.
Там, за окном, живут
Подобные ветру и сну.

Там, за окном, текут
И размывают края.
Стучу и стучу по стеклу
В это текучее я.

Чьи-то губы к лицу,
Звуков пустая дрожь...
Я от души хохочу, —
Слышу какое-то: дождь.

Валерий Черешня (1948)

Воскрешение матери

Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придешь. Когда придешь.
Обещали дождь. Дождь.

Купи на обратном пути
хлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.

Я что-то вкусненькое принесла.
Дотянем до второго числа.

Это на праздник. Зачем открыл.
Господи, что опять натворил.
Пошел прочь. Пошел прочь.
Мы с папочкой не спали всю ночь.

Как бегут дни. Дни. Застегни
верхнюю пуговицу. Они
толкают тебя на неверный путь.
Надо постричься. Грудь

вся нараспашку. Можно сойти с ума.
Что у нас — закрома?
Будь человеком. НЗ. БУ.
Не горбись. ЧП. ЦУ.

Надо в одно местечко.
Повесь на плечики.
Мне не нравится, как
ты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.

Не говори при нем.
Уже без пяти. Подъем. Подъем.
Стоило покупать рояль. Рояль.
Закаляйся, как сталь.

Он меня вгонит в гроб. Гроб.
Дай-ка потрогать лоб. Лоб.

Не кури. Не губи
легкие. Не груби.

Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу — ты выпил.
Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
остаешься один. Поливай цветы.

Владимир Гандельсман (1948)

* * *

Я рот заткну и слух замкну,
я буду нем и глух,
и белый тополиный пух
приблизится к окну.

Я тело женское назвал
по имени и вдруг
всё тот же тополиный пух
вошел и телом стал.

Петр Чейгин (1948)

* * *

Откуда взлетают бомбардировщики?
Вой. Дождь. Старт.
Колёса несущие бегут
по широкой бетонной равнине,

по бетонной пустыне,
по бескрайнему полю
твоего сердца, приятель!
Вот откуда взлетают
Бомбардировщики!
Из твоего сердца. Да.
Из пустыни твоего сердца.

Михаил Орлов (1949—1986)

* * *

Девушка с черепаховой заколкой
умерла на рассвете зимой.
Что можно еще об этом сказать?
Ведь не бесконечно же поле белого снега,
временно безнадежен дом
и оставлены вещи.
Но не хочется говорить о жизни,
о неотвратимой весне.

Андрей Монастырский (1949)

Кто, куда, когда, откуда...

Сестре

Кто, куда, когда, откуда,
Как ты, детка-задавака?
Помнишь георгинов чудо
Перед окнами барака?

Спорщица и хохотушка
Пролетела без оглядки
За руку с сестрой-толстушкой,
С первой сказкою в тетрадке.
Двор гудит подобно улью,
Занавес холста простого,
Зрители приносят стулья.
Осень пятьдесят шестого.
Память — зеркало кривое
Детство нищее стирает,
Голубей над головою
В синем небе оставляет,
В горле ком и солнца лучик —
Зайчик зеркальцем играет.
Память, твой зеркальный ключик
Мне случайно возвращает
Георгиновый букетик,
Автора на сцену просят.
Стулья со двора уносят
Те, кого уж нет на свете.

2007

Татьяна Полетаева (1949)

* * *

В густых металлургических лесах,
где шел процесс созданья хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах
и бензовоз, и мушка дрозофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплющенных часах.

Последний филин сломан и распилен.
И, кнопкой канцелярскою пришпилен
к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой:
зачем в него с такой ужасной силой
вмонтирован бинокль полевой!

Александр Еременко (1950—2021)

* * *

Обманывая всех, переживая,
любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,
аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,
речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —
боль есть любовь, особенно когда

как жизнь, три дня проходит, и четыре,
уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: «Одни мы в этом мире».
Она ему: «Действительно одни».

Всё замерло — гранитной гальки шелест,
падение вороньего пера,

зачем я здесь, на что еще надеюсь?
«Пора домой, любимая». «Пора».

Закрыв глаза, и окна затворяя,
он скажет «Ветер». И ему в ответ

она кивнет. «Мы изгнаны из рая».
Она вздохнет, и тихо молвит «Нет».

Бахыт Кенжеев (1950—2024)

* * *

сердце торопит меня
я устало я устало
думай скорее

Иван Ахметьев (1950)

* * *[144]

[144] Из книги «Семейный архив».

Одесса, июль 1954

Блеклый небосвод, неприбранный сад.
Настежь веранда. Семья у стола.
Пыльные портьеры вдоль окна парусят,
чайник остывает, и клеенка сползла.

Споров затейливые кружева.
Сплошь недомолвки. Как береглась
тайна! Почти непонятны слова,
но жесты не укрывались от глаз.

Тайна гнездится в скопленьи забот,
в стопке газет, в шепотке по углам.
Бабочка летит на зеленый забор,
садится и складывается пополам.

Изнанка крыльев. Зубчатый край.
Такие же листья. Цветное стекло.
Плетеные кресла, встревоженный рай.
Всё это в движенье — и всё прошло.

О чем в пятьдесят таком-то году
спорили те, кто сегодня мертвы?
Какие надежды в дачном саду
кружились поверх моей головы?

Мы детям своим задаем теперь
те же загадки. Проснувшись в ночи,
я вспоминаю: распахнута дверь,

дедушка в кителе из чесучи,

круглые, в тонкой оправе очки,
на переносице тонкий след.
Прошлое сузилось, как зрачки,
когда в лицо направляют свет.

Борис Херсонский (1950)

* * *

Я помню детство первобытное
в кругу мучительных табу,
дразнилки, прозвище обидное,
страх перед бабушкой в гробу,
как из-за тела неуклюжего
душа страдала, как в тотем
вдруг мишка превращался плюшевый
и в дикий возвращал эдем.

Всё вижу, вопреки убийственным
напластованьям, сквозь пролом:
пещеру темную под письменным
с резными дверцами столом
и белокафельное капище,
дрова в объятиях огня
и тень со стен как тянет лапищи
в объятьях задушить меня.

Всё слышу: заклинанья родичей,

цивилизационный гул…
Я знаю, голос в хороводе чей
меня однажды встрепенул.
Что жизнь моя? Не этажерка ли?
Не эхо ли минувших эр?
Вот я, себя узревший в зеркале…
Вот я, рычащий букву «р»…

Дикорастущее двуногое,
чуть-чуть робеющее, но
уже способное на многое —
держись, мое давным-давно!
Тропами палеонтологии
на склоне лет пыхтя-кряхтя,
ищу следы твои далекие,
иду, иду к тебе, дитя!

Борис Лихтенфельд (1950)

* * *

Средневековый замок на ковре
А почему не три богатыря-медведя?
Как он попал — потертый гобелен
На стену нашей комнаты
В коммунальную квартиру?
Ты мысленно искал оленя там в лесу
Словно охотника средь зарослей ветвей
В загадке «Пионерской правды» оборотной стороны
Ты мысленно в лесистую долину перед

замком проникал
Да, нет, уже немыслимо
Ты столько раз входил в тот тканый лес
Что сам отчасти стал потертой этой нежной тканью
Тот недоступный замок на холме
Под солнцем прежним
Ты повторял как пряжу, создавая
под рукой
Ты был повторен им,
А он тобой повторен
Как телефонный номер шестизначный
Который ты не смеешь позабыть
Ты и во сне его всё повторял
как клятву
Как будто и в этом жизнь
была твоя
Вернее, тот родник, — один из них
Как тот ручей, невидимый в долине
Который был на гобелене скрыт
Там в глубине, где-то за оленьими ветвями
Ты слышал лишь журчанье родника
Как телефонный номерок во сне
Что ты всё забывал и вспоминал повторно

Владимир Аристов (1950)

* * *

Витала осень вдалеке
перепелиным пересвистом,

последним велосипедистом,
растаявшим в березняке.

И вдруг она предстала нам
заваленным листвой и хламом
осыпавшимся Божьим храмом
с крапивами по куполам.

Владимир Полетаев (1951—1970)

* * *

Зевая мы проветриваем дом
чтобы душа в пыли не задохнулась
чтоб у нее прическа не помялась
не рухнул быт налаженный с трудом

Зевая мы идем на компромисс
чтоб если что сказать что дескать прозевали
что дескать прозябали в безответственной неволе
в плену у некоторых напряженных мышц

Чтоб мысль неизреченную спасти
от ложной объективности и хвори
мы открываем варежку пошире
и раздвигаем локти словно на кресте
и мысль колеблется как девочка на шаре
пока зеваем мы и говорим — прости

И верим что мы будем прощены

когда организованно зевая
предстанем пред судом Верховного Трамвая
повиснув, слипнувшись и что-то прищемив

Ты лишь начнешь — я сразу подхвачу
и передам другим как эстафету
Мы обзеваем хором всю планету
придремывая друг у друга на плече

Кто там? Ко мне?
Нет только не сейчас
Я занята простите
Я зеваю.

октябрь 1993

Нина Искренко (1951—1995)

Баллада об уходящем времени

Только чайник, натертый до тусклого блеска
едкой содой, а также стены арабеска,
или, может, окно, а на нем занавеска,
или шкаф для посуды со всем содержимым
придают бытию неизменность и прочность.
Прорисовано время, как почерк с нажимом,
на различных предметах. Но их краткосрочность
не чета краткосрочности жизни людской,
незаметно текущей в черте городской.

Вот вам хлеба ломоть и пустая солонка,
звук горящего газа, собака болонка,
шкаф посудный с торчащим из дверцы ключом,
снега белое дерево в окнах. Однако
мы пейзаж с натюрмортом скрестили. Собака
здесь, пожалуй, совсем ни при чем.

Так начнем же с начала. От мысли исходной
ничего не осталось. И ордер расходный
мы спеша заполняем в тоске безысходной —
нам кассир выдает шелестящее время
и поводит крылами в окошечке кассы.
Дома ждет нас вещей разномастное племя —
вот посуда из глины, стекла и пластмассы,
пара стульев потертых и снег за окном,
незаметно растущий в пространстве ином.

И опять окружает знакомая местность
человека, на жизнь получившего ссуду,
он уже ощущает тоски неуместность,
напевает, в порядок приводит окрестность —
взглядом трогает вещи, стоящие всюду,
с окон пыль вытирает и моет посуду,
снова чувствует пищи соленость и пресность,
пряность времени, жизни своей остроту,
шаткость шкафа посудного, стен пестроту.

А еще замечает, внезапно прозрев,
снег, растущий за окнами в форме дерев,
жизни прошлой окружность и времени хорду,

видит он, над горелкой ладони согрев,
постаревшей собаки кудрявую морду,
ключ от шкафа посудного в правой руке,
две разбитых тарелки, дыру в потолке,
из которой торчит электрический провод...

Я использую это прозренье как повод
для того, чтоб вернуться на круги своя:
есть, как видно, такие подробности быта,
за которыми время текущее скрыто
и впритык сведены разных истин края.
Вот за этой плитой и за этой горелкой,
за солонкой пустой, за посудою мелкой,
за стеной, за ее потемневшей побелкой —
всюду жизни исчезнувшей след.
И видна за окном, за небесным порогом
часть пространства, которая занята Богом,
а тебе, человеку, да будет итогом
только время, которого нет.

1985

Светлана Кекова (1951)

* * *

Распили бревно — и там найдешь меня.
Мне вреда не причинит твоя пила.

Обе половинки распили бревна —

вновь найдешь меня без всякого вреда.

А попробуешь прибить к бревну гвоздем,
чтобы был уловлен я и уязвлен,
чтоб доступен был в любые времена —
глядь и нету ничего, кроме бревна...

Не грусти: вот свет, завязанный узлом.
Развяжи его — и вновь найдешь меня.[145]

2000

Николай Байтов (1951)

Семья

Поселок городского типа.
К забору притулилась липа.
Под липой шаткая скамья,
на ней сидит моя семья.

Отец с трескучей сигаретой,
мать с могилевскою газетой,[146]
сестра с тетрадкою для нот
и толстый безучастный кот.

Кругом растет трава сырая,
сверкают звезды в вышине...

[145] Пояснение автора: Тема взята из апокрифического «Евангелия от Фомы». Слова Иисуса: «распили дерево — и я там, подними камень — и я там».
[146] Вечеслав Казакевич родился в 1951 году в поселке Белыничи Могилевской области.

И я бы сел на лавку с краю,
но не осталось места мне.

1985

Вечеслав Казакевич (1951)

Родник

Я знаю, есть дорога к роднику.
Отец с ведром, мать с голубым бидоном.
Мы дачники. В бездумном и бездонном
всем насекомым дарит по цветку
незрячему черемуха слепая.
Я девочка, я ничего не знаю,
но знаю — там, в овраге, есть родник.
На спуске пахнет сыростью и летом.
Какое там раздолье сандалетам,
шурша, скользить по влажному песку!
Я знаю, есть дорога к роднику —
повдоль стволы прямые в два обхвата,
их черная кора шероховата,
как ноги облупившихся колонн.
Дорога убегает под уклон,
в замшелый неф, высокий храм природы.
Понаклонились выпуклые своды
сплетенных лип над нашей головой.
Я еле различаю голос твой
в пустынном гуле таинства лесного.
Паникадило солнца подвесного,

на лаке листьев — красноватый свет,
и ладанный смолистый дым над тропкой,
над нашею судьбою неторопкой,
где наши имена — в одну строку...
Я знаю, есть дорога к роднику.
Племянник говорит на повороте:
— Почти пришли, давай сыграем, тетя.
Собакой буду я, а ты — хозяйкой.
— Какой собакой?
— Ну, хотя бы лайкой!
На четвереньках стану лаять я —
не на тебя, раз мы с тобой друзья,
а ты за службу дашь мне сахарку...
Я знаю, есть дорога к роднику.
Смеркается, тропинку плохо видно,
и потемнели тени с двух сторон,
а ведь почти дошла, и так обидно!
Уже струя пересыпает звон
в ладонь земли. Зеленая луна —
как в небо отлетевшая монетка.
Легла под ноги голубая сетка.
Не страшно мне, что я иду одна
и платье весит больше, чем сама я.
Так тяжело, так медленно ступаю
и для чего-то силы берегу.
Я знаю...
есть...
дорога...
к роднику...
О господи, я ничего не знаю!

1986

Наталья Ванханен (1951)

* * *

П. Мовчану

Поездка: автобус, безбожно кренясь,
Пылит большаком, не езда, а мученье.
Откуда? Куда он? На Верхнюю Грязь?
Из Лога? в Кресты? — не имеет значенья.
Попутчики: дядя с двуручной пилой,
Две тетки, подросток с улыбкой острожной,
Изрядно поддавши мужик пожилой
И в меру поддавши рабочий дорожный.
Кто спит, кто с похмелья, кто навеселе.
В проеме окна поднебесное поле.
Здесь всё — вплоть до Гундаревой на стекле —[147]
Смесь яви и сна и знакомо до боли.
Встречь ветру прохожая тащит ведро
Брусники и всякую всячину в торбе.
Есть сходство с известной картиной Коро,
Но больше знакомых деталей и скорби.
Всё это, родное само по себе,
Тем втрое родней, что озвучено соло
На третьей, обещанной грозной трубе,[148]

[147] Наталья Гу́ндарева (1948—2005) — советская и российская актриса театра и кино.
[148] «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Апокалипсис; 8:10-11).

Той самой. И снова деревни и села.
И надо б, как сказано, в горы бежать,[149]
Коль скоро вода от полыни прогоркла.
Но наша округа — бескрайняя гладь,
На сутки пути ни холма, ни пригорка.

1987

Сергей Гандлевский (1952)

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как черный ход из спальни на Луну.

А руку окунешь — в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

Алексей Парщиков (1954—2009)

Дождь

В потемках дождь, как через лес мордва,
на войлоке выходит в острова,

[149] «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Евангелие от Матфея, 24:15-28).

и ты глядишь на световые пятна
и слушаешь, как там отводят ветвь,
чтоб лучше разглядеть окно и дверь,
и говорят неслышно и невнятно.

Дождь рушится в себя, как рушат дом,
в котором за обеденным столом,
под грохот, гомон, шум его и гам ты
уснул, не погасив настольной лампы,
и светом окружен со всех сторон,
к которому склоняются гиганты.

И вот ты спишь и выселен во сне
в отечество дождя, и там, вовне,
ты видишь сад, и черные равнины
распутиц, и подруга и жена
смеющиеся отворяет рамы,
внезапным отсветом озарена.

И лето следом сходится в окно.
И светом полотно занесено,
на стол наброшенное, дно на дно
уставленное донышками света,
и разговор уходит от предмета
в сетчатку лета, сумерек рядно.

Мели свою емелю, гильгамеш
дождя и гула, мирозданий меж
толкуй свое на скаредной равнине,
на сумрачной равнине постовой,

на черной горловине узловой,
на государства серой мерзловине.

Простенок, полустаночек, пустырь.
Забелят дырку, выдернут костыль.
Подстанция, ораторов саратов.
Никто тому виной, что вот те на.
И если это ад или стена,
так вот те руль и вот те рубль адов.

Ведь сказано же не тобой и мной,
что есть небесный суд и суд земной,
а этим мраком, всей его толпою,
равнины непроглядною толпой,
которою за мною и тобой
завалят след, за мною и тобою.

И дождь идет за нами потому,
что станем пустырями, и ему
не проще выйти в пуговицу эту,
чем нам с тобой в единое ушко
двойною нитью. И куда ни шло,
живем, пообтираемся по свету.

Погасят свет за нами, вот тогда
мы станем частью правды, и вода
сойдет в низины, броды, загарани,[150]
уйдет в породу пустошей, пустынь.

[150] *Загарани* — заречные земли (места на противоположном берегу реки) или участки за горой либо возвышенностью, которые скрыты от глаз.

Забелят дырку, выдернут костыль,
забитый в сердце загодя, заране.

Олег Вулф (1954—2011)

Ева

Верной ласточкой,
строчкой Псалтири,
вразумлением детской речи,
Прилегла,
прилепилась, заплескав волосами плечи.
В только что сотворенном мире
друг друга укрыть еще нечем
только собственным телом.
Земля черна.
Человек взят из нее негативом белым.

Как Адам от дыхания Евы,
позабыв
имя свое и время,
я проснулся с блаженной ношей на левой
стороне груди, с губами
отыскивающими твое темя,
со срывающимся жалобным «ближе»,
со сглатывающим, тревожным
стыдом усилий,
и потом с тем страдальческим,
невозможным
от чего рождаются дети —

и жалеют, что их ни о чем не спросили.

Арье Ротман (1954—2026)

Вера

Бабушка, видишь, я мою в передней пол.
У меня беспорядок, но в общем довольно чисто.
Глажу белье, постелив одеяльце на стол,
И дети мои читают Оливер-Твиста.[151]

Бабушка, видишь, я разбиваю яйцо,
Не перегрев сковородку, совсем как надо.
В мире, где Хаос дышит сивухой в лицо,
Я надуваю пузырь тишины и уклада.

Бабушка, видишь, я отгоняю безумье и страх,
Я потери несу, отступаю к самому краю:
Рис еще промываю в семи водах,
А вот гречку уже почти не перебираю.

Бабушка, видишь, я в карауле стою
Над молоком, и мерцает непрочная сфера…
Вот отобьемся — приду наконец на могилу твою,
Как к неизвестному воину, бабушка Вера!

Марина Бородицкая (1954)

* * *

[151] «*Приключения Оливера Твиста*», роман Чарльза Диккенса.

Что касается модной стилистики ретро,
я родился в Москве, в деревянном доме,
унесенном резким порывом ветра.

От него ничего не осталось, кроме
тополей на углах с болтовней неизменных
воробьиных семейств, копошащихся в кроне.

Что касается ветра, гудевшего в стенах,
от которого в легких пожизненный след —
да хранит нас Неглинка,[152] текущая в венах,

потому что на карте Москвы ее нет.

1979

Евгений Бунимович (1954)

лунная ночь

деревня наяву, и тридевять земель,
и ночь, растущая на нашем огороде,
и крыша дома, севшая на мель
в несудоходном небосводе.

затеплила луна у тучи фитилек:
плывет свеча и шарит в окоеме,

[152] *Неглинка* (Неглинная) — река в центре Москвы, левый приток реки Москвы. Длина 7,5 км, почти на всем протяжении заключена в трубу.

и звездный свет отсюда недалек —
весь млечный путь в дверном проеме.

и лижет мыльный сон надзвездная река,
и в воду погружается обмылок,
в ней отражается вся плешь материка,
весь евразийский жреческий затылок.

того, кто покачнет гигантские весы
и чашу тишины заденет с непривычки,
коммуникабельно поругивают псы,
когда проходит он с последней электрички.

любовник дачный, свадебный бунтарь,
придя к неразбудившейся царевне,
в ладонях греет чуть живой янтарь
светящейся ночной деревни.

Марк Шатуновский (1954)

* * *

Цветы такие же, — пониже
нагнись; а в детстве были ближе;
и те же муравьи снуют,
и точен запах позабытый,
и по настурции умытой
жуки из памяти бегут.

И вовсе ты не изменился,

и ничему не научился,
и раньше, чем родился, знал:
вон та травинка воплощенья
ждала столетья, как прощенья.
А вот и жук с нее упал.

1979

Евгений Шешолин (1955—1990)

Девушка на ладони

Ты вся поместилась на ладони
Вместе с туфельками и уздечкой коня.

Ты шла по ладони.
Между опухших нецелованных губ
Сияло серебро зубов, мелочь.
Ты перепархивала мотыльком через лужи и линии судьбы,
Ты.

Ты взобралась на разбросанную поленницу волос,
Достигла монастыря-лба.

А потом ты стала спускаться
Пузырьком воздуха по моей вене.

Было больно так, что я был готов
Упасть перед тобой на колени,
Если бы ты проснулась.

Ты в фонари окунулась,
Выполоскала в них зубочистку-пальто.

Ты схватила меня за руку
И тряхнула так,
Что фаланги пальцев встали деревьями.

Ты обернулась ланью, а я обернулся павлином,
А потом мы стали людьми.

Но глаз лани остался в памяти,
В памяти осталась метаморфоза оленьей кожи.

Ты наступала туфельками на ножи
Моей руки,
Которая текла параллельно Неве.

Ты обернулась во сне,
Где фонарей ангельские рожи,
И соскользнул с ладони на траву твой башмачок,
Чтобы от мармелада дрожал язычок.

Ноги твои целовали меня в суставы пальцев,
В ветви ночных деревьев,
Которые шумят: «Поверь ее шагам, поверь им».

Ты удержалась на моей ладони чудом бабочки,
Которая собирает пыльцу с кожи-лепестка.

Твои губы и твоя рука,
Отделенные от меня кожей, —
Всё принадлежит тебе.
А не принадлежит тебе
Походка, муравьи, озноб по спине.

И когда ты раскрываешь очи вовне,
Ты смотришь в глаза ночной тьме.

Ищешь на игральной карте моей ладони
Переулок, названье разлуки,
Розу, оброненную в мусорный ящик.

Голос твой настоящий
Настоян на розах учреждения,
В котором ты работаешь днем.
А ночью ты водоем.

Куда мы идем?
К картинам Фра Анджéлико в дом.
Куда ты идешь по моей ладони,
Спутав кожу с гравием?

Ты касалась меня —
Так водоросли касаются течения.
И платье шуршало, и губы пели
Слова — полуприкрытые веки.

Ты наступила на Венерино кольцо,
Шарила рукой под моей кожей

В поисках выключателя.

Ты показалась в моих ногах птицей-тенью,
Отделилась от стены, воскресла.

Я пододвинул к огню свое кресло
И стал смотреть сквозь пальцы на твои ноги,
На дороги,
Которыми мы шли.

Ты поселилась в моей грудной клетке,
В горле,
До боли раздираемым чучелом канарейки —
Моим голосом.

Мы прошли облаком над Невой,
А потом ты ушла, чтобы быть одной,
Снять туфельки,
Разбинтовать китайские ножки,
Которые издавали в флейте моих рук
Режущий бритвой вену звук.

Ты ушла. Ты ушла. Ты ушла,
Словно сосна из поля зрения или зеркала.
Но осталась родинка на плече
И губы — сухие листья.
О чем они шептали, прижимаясь к ладони,
Впиваясь в яблоко в агонии?

Я в огне, в вагоне я.

Ты в окне, я на дне.
Держась за руки, мы не тонем.

1984

Василий Филиппов (1955—2013)

Из Джона Шейда[153]

Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь
от блеска зелени в распахнутом окне,
от пенья этих птиц, от этого июля, —
не стыдно ли тебе? Не страшно ли тебе?

Когда сквозь синих туч на воды упадает
косой последний луч в осенней тишине,
и льется по волне, и долго остывает, —
не страшно ли тебе? Не стыдно ли тебе?

Когда летящий снег из мрака возникает
в лучах случайных фар, скользнувших по стене,
и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает
на девичьей щеке, — не страшно ли тебе?

Не страшно ли тебе, не стыдно ль — по асфальту
когда вода течет, чернеет по весне,
и в лужах облака, и солнце лижет парту
четвертой четверти, — не стыдно ли тебе?

[153] *Джон Шейд* — см. роман Набокова «Бледный огонь» (Pale Fire, 1962).

Я не могу сказать, о чем я, я не знаю…
Так просто, ерунда. Всё глупости одне…
Такая красота, и тишина такая…
Не страшно ли, скажи? Не стыдно ли тебе?

Тимур Кибиров (1955)

Молитва № 3

В темное небо смотрю —
как-то мне всё непонятно.
«Господи, — говорю. —
Тошно без связи обратной!»

В темное небо смотрю.
Жажду простого ответа.
«Господи», — говорю.
Ира звонит или Света.

В темное небо смотрю.
Голоса нету из мрака.
«Господи!» — говорю.
Тихо подходит собака.

2004

Наталья Хаткина (1956—2009)

* * *

И седую Машу в грязном платочке в клетку,
и ее срамную дочку-алкоголичку,
и жадюгу Пашу, склочную их соседку,
подбери, Господь, в свою золотую бричку.

Видишь, как плетутся, глядя себе под ноги,
за кусты цепляясь и тормозя позорно
на крутых подъемах? Куры так на дороге
загребают пыль, надеясь нашарить зерна.

Тут одно словцо — и дурость пойдет на дурость,
и степное эхо бодро подхватит: «Бей их!»
…Отстает одна. Другая, как мышь, надулась.
У нее сушняк. А третья костит обеих:

«Не сыскать у вас и корки сухой на полке!
Полведра картошки не накопать за лето!
Вечно двери настежь. Каждый кобель в поселке
знает, чем за водку платит давалка эта!»

Посади их, Боже, в бричку свою, в повозку.
Брось попонку в ноги, ибо одеты плохо.
И, стерев заката яростную полоску,
засвети над ними звёзды чертополоха.

Подмигни им вслед пруда маслянистой ряской,
прошурши сухими листьями наперстянки.
Склей дремотой веки и убаюкай тряской,
чтоб друг с другом слиплись, как леденцы в жестянке.

И приснятся им за главной Твоей развилкой,
за холмом, горящим, словно живой апокриф:
тете Маше — внук, Маринке — моряк с бутылкой,
а сквалыге Паше — полный солений погреб

да еще пампушки и сковородка с карпом.
…Кто-то всхлипнет жалко, кто-то заплачет тонко.
А куда везут их с этим бесценным скарбом —
ни одна не спросит, — не отобрали б только.

Ирина Евса (1956)

Забытая местность

Всё живое, если приходит сюда,
то лишь ненадолго — добавит тень
к другим теням и тотчас унесет ее. Сегодня
такой тяжелый ветер, что передвинул слякоть
от пустыря к мосту гнилому.
Гранит безмолвен. И собака
похожа на безмолвие. Она
увернулась от невинной пошлости воя,
и нервный толчок под шерстью и в лапах —
это слепок с прерывистого лая.
Перепончатый взгляд собаки вот-вот разорвется
от погони за мутно-зеленой птицей —
уклончивый плюмаж в осеннем воздухе.
Мужчины, вопреки увещаниям женщин,
порой появляются тут, и тогда их раздумья
идут в ином порядке — точнее, в беспорядке.

Их можно понять: ветер, пустырь,
приторная близость неведомых растений,
дома, перешагнувшие навязчивый слом, и нечто еще —
коварная скромность прошедших дней.
Год умирает, и ландшафт бледнеет по частям.
Эти части стихии предоставлены друг другу — даже
наиболее доступные взору не стоят на виду,
но лежат на поверхности. Легко
заметить верхушку единственной мирты, не тронув ее,
и, напротив, легко не заметить кусочек брезента
и коснуться его. Уловить
что-то одно, бесконечно родное, восприятие бессильно.
Остаток пейзажа — масштабность, в нее
уходят мужчины, уезжают домой
по тряской дороге в пыльном автобусе.
Страх покидает мужчин, и дрожь в них другая,
чем та, что колеблет машину и холодные стекла.

Шамшад Абдуллаев (1957—2024)

Ночной сторож

Кричат мне с Сеира:
сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?
сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.
Исайя, XXI, 11-12
Не дай мне Бог сойти с ума
Александр Пушкин
Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht[154]
Rainer Maria Rilke

Боже, о дай же совсем не сойти с ума.

[154] Ночной сторож сумасшедший, потому что бодрствует.

Кукла, игрушка, не сплю, ничего не делаю.
Знаю, живу на земле, сторожу дома.
Тела не знаю — Луна похитила тело неспелое.

В лад этой музыке спрятались сонь и синь.
Лунные струны звенят на пустынной равнине.
Две воробьиные клавиши — соль и си —
Утро. Надтреснутый свет. Он горит и поныне.

Сделаю что-нибудь, встану, огромная тень,
Слово скажу, чтоб услышали, жив еще, жив еще,
Боже, о дай же мне голос глухих деревень.
В час, когда только собаки летают над крышами.

Алеша Прокопьев (1957)

У зеркала
(Палиндром)[155]

Я вижу — жив я.

Михаил Векслер (1957)

* * *

Едет поезд через реку,
Едет поезд по мосту
И попыхивает кверху
Гордо поднятой трубой.

[155] *Палиндром* — текст, одинаково читающийся в двух направлениях (слева направо и справа налево).

Там, конечно, пассажиры
Все на лавочках сидят.
Там, конечно, пассажиры
Масло с курицей едят.
Там, конечно, пассажирам
К чаю сахар подают.
И конечно, пассажиры
Песни радостно поют.

Но такой же точно поезд
Отражается в воде.
И труба его большая
Почему-то смотрит вниз.

Там, наверно, пассажиры
Безбилетные сидят.
Там, наверно, пассажиры
Целый день в окно глядят.
Там, наверно, пассажирам
Чай вообще не подают.
И, конечно, пассажиры
Песни грустные поют.

На мосту остановился
Поезд — эх! — на пять минут.
Размышляют пассажиры:
ТАМ мы едем или ТУТ?

Владимир Друк (1957)

* * *

Не страшась укусов и уколов,
Никому не давшись на зубок,
Ото всех ушел иссохший колоб,
Ветреник, скиталец, колобок.

На пути унылом и никчемном
Он устал, не понял, отчего
Друга он не повстречал и что́ в нем
Потеряли встречные его.

И куда теперь ему катиться,
И на что ему свободы плен?
Как молиться? чем облокотиться
Без локтей, без пальцев, без колен?

Алексей Ушаков (1957)

* * *

Заговорившись, за окраину
Мы незаметно забредем
И вдруг откроем, как неправильно,
Как безоглядно мы живем.
И, осторожно сев на корточки
В подножиях высотных сосен,
Протягиваем белке зернышки,
Как будто милостыню просим.

1979

Виталий Калашников (1958—2012)

* * *

Старуха апельсин несла с базара
и с жадностью, почти не очищая,
как яблоко пыталась грызть его.

Но только брызгал, растекался сок
по пальцам и коричневым морщинам,
по кофточке голубенькой, воскресной.

Я с высоты шести неполных лет
смотрел с бездарной жалостью и думал:
«Наверно, нету мамы у нее…»

Игорь Сахновский (1958—2019)

Инопланетянин

Вечереет, горят на полях огни,
На охоту летит сова,
Человечек зеленый стоит в тени,
Светится бледная голова,
Он свалился с неба и жив едва,
Ничего не понятно, куда ни ткни.

Отчего был день, а потом потух,
Отчего кричит на дворе петух,
Что за баба в резиновых сапогах
Через двор шагает на двух ногах,
Кто сидит в тепле, кто не спит в дупле,
Что тут делается на земле.

Он в зеленых ручках несет дары,
Он летел мимо самой черной дыры,
Он прошел сквозь огонь и мрак,
На соседнем подворье жиреет хряк,
Чей-то тельник светится, будто флаг,
Дядя Петя упал в овраг.

Что-то там сокрыто в его ларце,
Бледный свет лежит на его лице,
Третий глаз под его челом,
Подступают сумерки, как вода,
И никем не узнанная звезда
Загорается над селом.

Мария Галина (1958)

Гобелен

Спала, как догоняла, как неслась.
А жизнь моя невдалеке паслась,
не помня обо мне — и слава Богу.
Спустилась в воду я и перешла дорогу.

Смеркалось, и мешался снег с дождем,
грузовики мешали грязь со всем,
гремели тяжело, вжимаясь в слякоть,
— и высвободила локоть.

Там, за спиною, жизнь моя текла
так быстро-медленно, как будто я ткала
ребристый гобелен ее, с поляной,
ручьем и рощицей — и резкий возглас пьяный.

То ангелы — не молния — сверкнув
крылом, скользнули в тучи — я рукав
не доткала один, не довязала —
и тем крылом я горизонт взяла.

Я жизнь опередила — и за край
земли, склонившись быстро — крой
увидела, и в петельках изнанку —
и удивилась тесноте родной.

Ирина Машинская (1958)

* * *

Возились полный день, а вот уж и пора.
Тревожатся и старшие: «Что дети?
«Явились бы уже... как канули с утра... —
«Вот вечер катится, сверкающий, как сети...»

Мы — камень и огонь, мы — древо и вода,

Мы — воздух, свет и кровь — должны спешить: уж тёмно.

Когда же побежим — кто как и кто куда —
Песочница пуста останется, огромна

1982

Олег Юрьев (1959—2018)

* * *

На пикник у реки
Понаехали люди из города;
Облака, шашлыки,
Желтым жиром закапаны бороды.
И туман до утра
Наполняется смехом и руганью;
Парни пьют у костра
И гуляют по гальке с подругами.

За излучиной — плес,
Ну а здесь всё звенит перекатами;
И дрожание лес,
Позабытых лихими ребятами.
Над обрывом село
Или поле, заросшее травами,
Поднимает чело,
Растревожено странными нравами.

И похмельный народ

До рассвета с рекой не расстанется;
И стоит у ворот
Деревенский потасканный пьяница.
Он плетень обоймет,
Вспоминая вчерашнюю горькую,
Бормоча под восход
Речь про жизнь, обрученную с зорькою.

Александр Гуревич (1959—2002)

* * *

Бумага в сальных пятнах,
торговые ряды.
Кленовый лист распят на
поверхности воды.

Так пожелал Создатель —
и грустен день-вдовец,
и жалок покупатель,
и жалок продавец.

Плоды земли и света
горою, как во сне,
приснившееся лето
по рыночной цене.

А день уже недолог,
и в сердце нет огня.
А я совсем недорог.

Купи меня.

Геннадий Кононов (1954—2004)

* * *

Пока ты рисуешь
далекие дали,
рядом стареют
бабочки

Карен Джангиров (1956—2022)

Молитва

И. Х.

Мы проводили ночь — и провели,
В полете отдаляясь от земли
Спиралями, восьмерками, кругами…
Был ангел слаб на первом вираже,
К тому же дело было в мандраже,
Как правило, присущем первой гамме.

— Не ограничь себя, но ограни, —
Он заклинал в пленительной тени
И на свету, а свет был беспощаден.
— Сомненьем отточив алмазну грань,
Ты понапрасну, попусту не рань
Неограненных пограничных гадин.

Нам пресность пресмыкательства ясна
И въяве, и когда неясыть сна
Поводит оком — и вонзает коготь.
Врачебен и учебен вылет наш,
В нем, словно бы домой, войдешь в мираж,
Где ясный окоем не застит копоть.

Но призрак непридуманной вины
За мною полз, расталкивая сны,
Змеился в раскаленном одеяле,
И я спросила, разрывая тьму:
— Ведь мы не изменяли никому?
И ангел повторил: — Не из меня ли?..

И взмыли на вершину колеса мы,
И подлетели к неким небесам,
Где Он взирал — безумно и светло,
Где содрогался, плакал и смеялся,
Под прядями кудрей ко мне склонялся,
Тяжелых, как живые лозы слов.

Похоже, эта ночь нас провела,
Поскольку дня грядущего дела
Не лакомы с тех пор мне были боле —
Ни блещущая славой Каббала,
Ни лак, каким лоснится кадиллак, —
Всё кануло в преображенье боли.

2002

Нина Демази (1959—2020)

* * *

Куст скребется в низкое окно.
Этот сон меня уже не помнит.
Входишь в воду, илистое дно
пузырится. В анфиладе комнат
пыль танцует сельский менуэт.
Звук вдали почти что вертикален —
это море и обратный свет,
что зеленым ангелом ужален.
— Мама, мама, что мы будем делать?[156]
— Ничего, сыночек, ничего.
Я вот, представляешь, и без тела
как-то вижу облако Его.
Одевайся и сходи за хлебом…
Одеваюсь, даже ухожу.
Море улыбается, как небо.
Я его на ниточке держу.

Алексей Кубрик (1959—2024)

* * *

1.

[156] Впервые песня с таким припевом была исполнена в 1919 году в киевском театре-кабаре «Кривой Джимми» «салонным хором», в котором солировал Федор Курихин. Особую популярность песня получила благодаря Леониду Утесову, создавшему в Одессе «комический хор»: ее пели артисты, изображавшие нищих. Точный текст тех куплетов не сохранился. Позднее эта песенка неоднократно переделывалась.

Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет, —
Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя,
Ладошки взмокли, губа трясется, глаза, как блюдца,
Один на целом-прецелом свете во мраке жизни.
Настало утро, и мальчик Изя и все проснулись.
Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит.
Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись
В какой-то дикий теду бе нябет, теду бе нябет.

2.

Однажды Изе приснилась птичка с часами в спинке.
Она сидела, потом вспорхнула и улетела,
И понял Изя, столетний Изя, тараща зенки,
Что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело.
Опять за горло его схватили железной хваткой,
Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти.
Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке,
А этот просто, держась за сердце, привстал на локте.

Дмитрий Веденяпин (1959)

* * *

Во всем дому был свет потушен,
стояла женщина под душем,
за занавески мокрым шелком
светилась кожа ее желтым.

Светилась кожа ее белым,

светилась кожа ее бледным,
и тень воды, сбежав по стенам,
светилась отраженным светом.

Капли кап-кап, глаза застыли,
фиалковое пахло мыло,
и ничего другого в мире
в тот вечер не происходило.

Катя Капович (1960)

* * *[157]

Когда мое тело станет
этой долиной,
я буду снова свободен
над светящимся руслом реки,
где вечно цветут
под соснами цикламены
и времена года
как дни и ночи близки.

Странен только момент перехода
тела в пространство,
словно отделение звука
от языка и зубов,
когда мы становимся тем же,
что эти зимние травы
среди молока и меда

[157] Из цикла «В Долине Великанов» (Долина Великанов — Эмек Рефаим — квартал в Иерусалиме).

обетованных садов.

Иерусалим

Александр Бараш (1960)

* * *

В моем доме горит свет,
и чайник всю ночь теплый,
только тебя нет,
ты — лишь рисунок на стеклах,
нарисовала его луна
тонкой кисточкой инея
с другой стороны окна
белым по темно-синему,
утром солнце придет за тобой,
утром станет простой водой
всё серебро моего сна,
вся чудесная белизна.

Дмитрий Григорьев (1960)

* * *

Квартира гостями полна.
На матери платье в горошек.
И взрослые делятся на
хороших и очень хороших.

Звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
Вот этот уедет в Нью-Йорк,
а тот попадет под колеса.

Осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
И будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.

И в комнате гасится свет.
И тьмой покрываются лица.
И тридцать немыслимых лет
в прихожей прощание длится.

Как длится оно и теперь,
покуда сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.

2002

Игорь Меламед (1961—2014)

* * *

это если в тени
а на солнце не так ли
чистый жемчуг они
предзакатные капли

не смотри на часы
все часы устарели
время божьей росы
паутин ожерелье

Феликс Чечик (1961)

* * *

Когда мы уходим из дому,
даже если дом наш счастливый,
мы не думаем, что берем билет в один конец.
Воспоминания молодым не нужны.
Потом мы живем, остаемся одни,
и начинается последняя из наших жизней.

Я вышел из дому тысячу лет назад.
Мама испекла пирог на дорогу,
накрыла на стол в последний раз,
а я был уже не с ними,
стал одеваться, спеша.
— Тебе не холодно?
Я, кажется, отмахнулся.
Не помню, обнял ли я их тогда.
Мама сказала напутственные слова —
наивные, — которым научил дед.
Отец сунул немного денег.
Они вышли на порог
проводить меня,

а я оглянулся только теперь.

Михаил Вирозуб (1962)

Признание

я больше не люблю
(да и никогда не любила) те-
атральные конфеты, барбарис и дюшес,
не говоря уж о мятных.

Я больше не хочу видеть
(да и видела ли раньше) те
продолговатые обтекаемые блеклые
желтые зеленые полупрозрачные тела
в мутных мятых обертках
они сияли, когда их вынимали изо рта.

но знаешь
когда я слышу те-
перь (как и прежде)
прожженный дух кондитерских фабрик
у меня перехватывает дыханье.

2003

Гали-Дана Зингер (1962)

* * *

Уже вчера наступал ноябрь.
Уже вчера изменился свет.
Проснешься: призрак стоит у окна,
В жилетном кармане лежит ланцет.

За окном улица, которой нет.
У смерти уже такой легкий вкус,
Гигиенический лаконизм
И бедная лексика наизусть.

У смерти уже такой легкий слог.
Ее улыбка модели «Вог».
Ее движения старых ревю,
Сухие крылья балетных ног.

Елена Фанайлова (1962)

* * *

Андрюше

В игрушечной белой пустыне на лыжах кружили
Две точки, две черных букашки в искрящейся пыли,
Две донных чаинки в багряной заварке заката.
Передняя, та, что помелче, спешила куда-то:
Неслась, спотыкалась и падала, путая лыжи.
На трассу ее водружала букашка повыше,
Скребла, отряхала и ревностно так поучала,
Потом отставала, и всё начиналось сначала:
Клубилась одна, а вослед выступала вторая...

Как мало пространства и времени нужно для Рая.

Александр Беляков (1962)

Ночь

Можно проснуться и жалость
вдруг не испытывать к людям
так как проснулась лягушка
ночью на дачном крыльце
Просто глядеть не моргая
в черную влажную полость
видеть глаза свои
видеть
ночь у себя на лице

Юлия Немировская (1962)

* * *

те несчастья
тени счастья

Герман Лукомников (1962)

* * *

чучелко смоляное
липкое но не родное
почему нас с тобой двое

я живое и ты неживое

июнь 2026

Илья Франк (1963)

* * *

где моя родина? —
возле родинки
у левой твоей ключицы.
Если переместится родинка —
родина переместится.

Вера Павлова (1963)

* * *

Человек выходит из дома, но не полностью,
Оставляет лицо — отражением в зеркале,
На расческе, седыми клочьями, волосы,
Тень густую, в прихожей, на коврике.

По тротуару, отправляется в путешествие,
За ним следом, спешит длинная такса,
На коротких лапках, виляя хвостиком,
Оглашая, пустую улицу, звонким лаем.

С каждым шагом, они, становятся выше —
То заметно особо, в удаленной перспективе,

Вот, уже, сравнялись со шпилями, крышами,
Растворяясь в синей, небесной дымке…
А домой возвращаются — через форточку,
Примеряет хозяин, наново — нос — на голову,
Тьму приклеив — зыбкую — под ботинки…

Вольфганг Бендер (1963)

* * *

Ни себя, ни людей
Нету здесь, не бывает.
Заповедь озаряет
Сныть, лопух, комара.

Ноет слабое пенье,
Невидимка-пила:
Будто пилит злодей,
А невинный страдает,
Побледнев добела.

Но закон без людей
На безлюдьи сияет:
Здесь ни зла, ни терпенья,
Ни лица — лишь мерцает
Крылышко комара.

Григорий Дашевский (1964—2013)

* * *

А завтра снова занесет
поселок, бор и поворот,
и лишь подъезды — как отметки островов.
Пока в краю покатых крыш
тебя не вычислят, малыш,
не оставляй меня под стражей одного.

Камин притих, дворец уснул,
ворчит в тулупах караул,
последний всадник до локтей оледенел;
он был в плену, он был в Крыму,
так ты прислушайся к нему,
не оставляй его со мной наедине.

Кроша паркет алмазом шпор,
неотвратимый, как топор,
мой черный ангел направляется сюда,
что за покои — без икон?
Хоть ты, пришедший босиком,
не оставляй меня без Бога и Суда.

...Застыла клетка какаду.
В сухом предутреннем бреду
с огарком шаркает жилец по этажам.
Прожилки белого белей.
Весь мир трещит, а из щелей
всё тянет холодом — и зябнут сторожа.

Николай Штромило (1964—2025)

* * *

Божия коровка,
чья на тебе кровка?

И того, и этого,
до костей раздетого,
ужасом объятого…

Я — того… нет, я — того,
черного и белого,
заживо горелого,[158]
угольками бьющего,
немо вопиющего:

«улети на небо»,
чающего слепо
утоленья жажды.

Чья же ты? Ну, чья ж ты?

Юлий Гуголев (1964)

* * *

Продвигаясь по комнате
Водным путем иль воздушным —

[158] Ср. с детской считалочкой: «Божия коровка, полети на небо, / Принеси мне хлеба / Черного и белого, / Только не горелого!»

На лошадке, под парусом —
Думаешь, надо же, прежде
Всё было здесь плоским и мутным.
Видно, был я беспутным
Пустым стариком.

Елена Ванеян (1964)

* * *

любой, но чтобы сосны за окном.
пускай дощатый, карточный — но сосны.
пусть будет лишь одно названье — «дом»,
но будет отблеск на закате красный.
и пред тобой, негодным к строевой —
вечерний строй, к морской вовеки годный.
закончен день, сурдиночный и злой,
их музыкою, медленной и медной.

протри, потом поставь свою иглу
из воздуха, и никогда не мимо,
из солнечных квадратов на полу,
из голосов (их называют «гамма»),
все — в очереди, за одним — другой,
и — до реки, до моря, через море,
а там уже столетний лес секвой:
как вы, такой и вам отмерят мерой.

а в воздухе — эфирные тела,
и искры, и горячие светила,
и медленная музыка плыла,

пока на сердце жгло и рассветало.
то закрывал, то открывал глаза,
всё проверял — на месте, не исчезли,
прозрачные, янтарные леса,
как были до, как будут после жизни.

2006

Геннадий Каневский (1965)

* * *

Небо просто входит в море,
Ничего не говоря,
Хорошо жить на просторе,
Ничего не говоря.

Как придет освобожденье,
Как оно совсем придет,
Голубое ощущение,
Шиворот навыворот,

Как оно волною нежной
меж лопаток пробежит,
или облаком безбрежным
голубого окружит,

как оно потом поступит
с этим, с тем, что отжило?
Так, как небо, что сегодня

молча во море вошло?

Татьяна Нешумова (1965)

Как

Как это случилось? Да так и случилось.
Сначало сверкало, потом излучилось.

Не поднял никто телефонную трубку,
Не видел, что в раковину натекло,
Никто не заметил жирдяйку-голубку,
Чесавшуюся о стекло,

Никто не заметил, как фыркнула такса
Сквозь дрему, хвостом полируя паркет,
Как нервно на вешалке шарф заметался,
Всплеснул рукавами на полке жакет,

Как вдруг прекратилось гудение лифта,
И ключ зазвенел, и раздался щелчок,
И книга раскрылась, и вылез из шрифта
Какой-то насмешливый новый значок,

Как хлопнула створка пристенного бара,
И задребезжала в стакане вода,
И роза пахучего пара
Над ней распустилась, и шлепанцев пара
Пошла — непонятно куда.

2006

Валерий Шубинский (1965)

* * *

Те же пряности, туманности.
Всё как осенью, знакомо.
Утро тихое до странности,
без звонка, без метронома.
Поломались, не заводятся
измерения наручные.
А зато на небе водятся
бегемот и кошка тучные.

Артур Гиваргизов (1965)

Бижутерия

Читал утреннее правило,[159]
Почувствовал пустоту за грудиной.
Схватился — сжать края,
Стянуть обратно — и чётки
Порвались: нить истлела.
Звонко зёрна застукали, дробно
Запрыгали по полу.
А это не чётки — шопотки, щепотки,
Тенётки — это

[159] Утреннее молитвенное правило — совокупность молитв, которые каждый православный христианин должен ежедневно читать утром, сразу после сна.

Мамины красные пластмассовые бусы
Запрыгали по пятнам солнца, пыли,
По старому, звонкому молодому паркету.
Оставь, не подбирай. Приложи, словно обрел впервые,
К деревянной теплой беспредельности
Ладони, потом щеку,
Потом всего себя, прищурь веки: видишь,
Каким золотым, огромным стал деревянный конь у стены.
Солнце всё шире поет. И его не застят
Эти стаи синиц, треща, славословя нахлынувшие,
Множащиеся неимоверно,
Налипающие на стёкла
С той стороны окна кельи,
Привлеченные сухим летающим цоком
Рассыпавшейся псевдорябины.

Паркет всё теплее, бусины
Всё звонче. Мама
Скоро придет.

Сергей Круглов (1966)

* * *

Боже, храни колорадских жуков,
Не отдавай их на милость
Из полосатых твоих пиджаков,
Бережно сшитых навырост.

Дай им картофельного молока —

Чаши они не осушат.
И к сентябрю унеси в облака
Их шелестящие души.

Виталий Пуханов (1966)

Быстротеченск

В городе Быстротеченске, что на Убий-реке,
службы идут по-гречески, люди живут в грехе.
Там пароходы длинные, долго гудят вдали,
кладбища тополиные вечно стоят в пыли.
Кто там родиться выдумал, так и умрет собой,
скажет, я так, для виду, мол, спи давай, Бог с тобой.
А почему по-гречески? Так уж заведено,
в городе Быстротеченске принято жить давно.

Вячеслав Попов (1966)

* * *

Ты думала, это мишка
Плюшевый и простой

А это черная книжка
С таинственною душой

Ты думала, это поезд
Нас в дальние страны везет,

А это мерцающий пояс
Застегнутый наоборот.

Ты думала, дальние страны
Есть где-то на этой земле,

Но дальние страны — туманы
Осевшие на стекле.

Ты думала, это котик
На кухне из блюдечка пил,

А это чудовищный ротик
Всю душу мою проглотил.

Ты думала, это могила
Чужого тебе старика,

А это я, твой милый,
Лежу неподвижно пока.

Павел Пепперштейн (1966)

* * *

Люди клана Пустынных Лис
путешествуют меж мирами,
умножаясь в числе тем резче,
чем больше их умирает;
проникают в чужие сны

в ночь на праздник святой Филиппы,
носят бусы из лучших трипов,
ткут ковры из сухой листвы.

Молнии вместо стрел.
Волосы по плечам.
Победили испанцев, отбросили англичан,
устояли под натиском чичимеков.
Вот они плывут по небесным рекам —
как я только раньше не замечал?

Или замечал, да ничего не понял?
Помню, правда, как шел по лесу
во сне, по полю;
как тонул в золотых колосьях,
на смерть надеясь;
как тянул меня вверх за косы
старик-индеец.
— Вот ты, Дымчатый Лис, — гундосил, —
полжизни где был.
И тянул меня вверх за косы
в ночное небо.

2025

Михаил Дынкин (1966)

* * *

Стучит мотылек, стучит мотылек

в ночное окно.
Я слушаю, на спину я перелег.
И мне не темно.

Стучит мотылек, стучит мотылек
собой о стекло.
Я завтра уеду, и путь мой далек.
Но мне не светло.

Подумаешь — жизнь, подумаешь — жизнь,
недолгий завод.
Дослушай томительный стук и ложись
опять на живот.

1994

Денис Новиков (1967—2004)

Блаженство

Блаженство — вот: окно июньским днем,
И листья в нем, и тени листьев в нем,
И на стене горячий, хоть обжечься,
Лежит прямоугольник световой
С бесшумно суетящейся листвой,
И это знак и первый слой блаженства.

Быть должен интерьер для двух персон,
И две персоны в нем, и полусон:
Всё можно, и минуты как бы каплют,

А рядом листья в желтой полосе,
Где каждый вроде мечется — а все
Ликуют или хвалят, как-то так вот.

Быть должен двор, и мяч, и шум игры,
И кроткий, долгий час, когда дворы
Еще шумны, и скверы многолюдны:
Нам слышно всё на третьем этаже,
Но апогеи пройдены уже.
Я думаю, четыре пополудни.

Но в это сложно входит третий слой,
Не свой, сосредоточенный и злой,
Без имени, без мужества и женства —
Закат, распад, сгущение теней,
И смерть, и всё, что может быть за ней.
Но это не последний слой блаженства.

А вслед за ним — невинна и грязна,
Полуразмыта, вне добра и зла,
Тиха, как нарисованное пламя,
Себя дает последней угадать
В тончайшем равновесье благодать,
Но это уж совсем на заднем плане.

Дмитрий Быков (1967)

* * *

а ночью опять приснился

мальчик
с которым в роддоме
мы лежали на соседних кроватках
тот самый
что навсегда украл у меня изо рта
серебряную ложечку

Андрей Сен-Сеньков (1968)

* * *

Был полдень, полный хрупкой тишины
и свежести раздавленных арбузов,
и горизонт, вспотевший со спины,
лежал, как йог, на мачтах сухогрузов.
На набережной отдыхал народ,
под мышками каштанов, под кустами,
курили проститутки всех пород,
устало обнимаясь с моряками.
И пахло пивом у причальных тумб,
машинным маслом, сажей и духами,
и небо, под прицелом мачт и труб,
молчало, прикрываясь облаками.
В саду оркестр начинал играть
мелодии из старых водевилей,
И мне хотелось музыкою стать,
чтоб под нее прощались и любили.

Александр Кабанов (1968)

* * *

Где тот театр, что с рюмки водки начинался,
Евгений, за которым всадник гнался,
Владимир, что с Евгением дружил,
портной, что им обоим платье шил?

Язык меняется, а мы стоим на прежнем,
смешном, аляповатом, неизбежном,
надеемся — прорвемся, переждем,
гербарии спасаем под дождем,

и голосом глухим и непослушным
лепечем что-то лепетом ненужным,
нелепыми вещами дорожим
при скрипе шестеренок и пружин.

Где те актрисы, что на лодочках катались,
где те актрисы, что влюблялись и влюблялись,
шептали глупые классические штучки,
кося глазами и заламывая ручки?

И я там был, и спал, и просыпался.
Свет преломлялся и на мне сходился.
Я видел — Станиславский засмеялся,
я помню — Немирович прослезился.

Арсений Ровинский (1968)

* * *

Жизнь уходила от нас зимой,
Чтобы шуметь за сценой.
Ты забирала меня домой
Перед второю сменой.
Десять минут до того угла,
До поворота к школе.
Как ты на санках меня везла —
Или забыла, что ли?
Как близоруко поземкой стерт
Красный кусок бетона.
Год я не помню, всегда не тот.
Шапка всегда с помпоном.
День или вечер — поди пойми,
С низкими облаками.
Держат медведи хрустальный мир
Плюшевыми руками.
Как ни гляди в новогодний шар,
Видно совсем немного.
Я выдыхаю в морозный шарф
Женское имя Бога.

Лена Берсон (1969)

* * *

Яблоки благоухают в траве, сушатся на столах,
Остаются на дне компота и жаркого дня.
Дом наш словно корабль в горах,
Пенный облунок — над.

И еще летает, но реже и реже, мяч
За сараем, и вечер, особенно по краям
Неба, реки и веранды еще слепящ,
И комары, трепеща, приникают к нам,
Но уже унесен творог и ребенок — в другой руке,
И посуда тонет в раковине, скрипя,
И сердцевины яблок ежам достаются, и молча стоят в реке
Толпы неба, выше самих себя.

Хельга Ольшванг (1969)

Золотое время

Это было то золотое время
когда в городе запросто можно было встретить
и дядю Эдзю на велосипеде
и дядю Владзю на велосипеде

дядя Эдзя и дядя Владзя
непременно останавливался
пожимал цыплячью лапку племянницы
удобной клешней постоянного жителя

частного сектора
и весь день до вечера
я помнила о рукопожатии
как о невероятном событии

как если бы бог заприметил гусеницу
рядом с царствием своего величия

с алюминиевой прищепкой на брючине
со стороны где велосипедная цепь.

Таня Скарынкина (1969)

* * *

кто я такой чтобы лежать на этой кровати
и целовать твои запястья?
завтра найдется кто-нибудь повороватей
но и понесчастней

господи, пусти меня по́ миру голым
уже получил свою награду
уже допущен языком горлом
к горному винограду

когда глаза сливались с другими глазами не считаясь слезами
не вникая
кому принадлежит какая

Михаил Гронас (1970)

Сентябрь

Аппараты тихой погоды включены
На полную мощность. Деревья
Стабильно занимают свои позиции.
Передвижная установка кошки
Затихает на травяном покрытии.

Всё очень хорошо, очень сильно,
Очень реалистично.

Сергей Тимофеев (1970)

Вода

мой брат бесполезен
как единственный из детей
на прогулке всегда исчезает
портит одежду и другие предметы
вот темные тени
яркие листья
осень
день
брат бьет ладонями по поверхности озера
дует делает волны
чтобы не было скучно называет себя
во множественном числе:
сидим тихо
смотрим на пустую воду
не мочим пальто
и нас не найдет никто
там под водой — свобода
там ходит рыба настоящая
угорь по имени Игорь
окунь по имени Глеб
и кальмар Олег

Федор Сваровский (1971)

* * *

Где найдешь,
там и потеряешь
(с гулькин нож,
это ножевая ж).

Неглубок
ранки поперечник —
голубок
поглядел в скворечник.

А внутрях —
горсточка помета,
перья, прах
и еще чего-то.

Игорь Булатовский (1971)

* * *

нет имени, и хорошо, что нет.
зачем оно, когда вокруг поют,
когда в лесу то флейта, то кларнет
проснется и опять уйдет под снег.
о жак-простак, куда как прост твой путь,
пойдешь на свет, свернешь куда-нибудь,
увидишь то, чего на свете нет,
согреешься или уйдешь под снег.

и я живу неслышно, как солдат —
неустрашимый, оловянный брат,
который, расстреляв запас драже,
вернется в снег, и снег пошел уже.

Григорий Стариковский (1971)

* * *

Я долго наблюдал работу крана.
Сквозь утренний недвижный воздух, в тишине
Он робко двигался, и грустно стало мне.
Как будто старая заныла рана.
Так дальний лай бывает слышим в полусне.

Виктор Боммельштейн (1971)

* * *

они в саду играют марш
давай играть в войну
ты будешь мой отец погиб а я тебе рыдать
теперь они играют вальс
а ты и я разврат
теперь ты мой хороший брат а я с тобою спать
затем они сыграют что
но мы давно ушли
здесь звезды страшные горят у них глаза внутри

1995

Анна Горенко (1972—1999)

* * *

Мне четыре года. Ношу пальто
Шерстяное в клеточку. Холода.
Просто замечательно. Разве что
Потерялся круглый осколок льда.

«Брось его, и так уже весь скрипишь», —
Мама мне сказала, и он упал.

Я его разыскивал целый день,
А потом сегодня еще полдня.
У него внутри человек сидел
И махал руками, и звал меня.

1995

Ольга Зондберг (1972)

* * *

И в реальности постылой,
И в бреду,
По виниловой пустыне
Я бреду.

От окраины до центра

Путь пролег.
Рвется музыка крещендо
Из-под ног.

Расширяется, взлетая
Надо мной,
И становится — земная —
Неземной.

Воздвигая храм минорный
Без гвоздей,
Прорастают ноты-зёрна
В борозде.

Ни двора мне нет отныне,
Ни угла,
На виниловой равнине
Я — игла.

Михаэль Шерб (1972)

* * *

перечисли меня по пальцам одной руки
меня более чем хватает
один не справившийся
один опоздавший
один очень испуганный
один постоянно
засыпающий на ходу

и еще один
безымянный

Станислав Львовский (1972)

Тир в парке Сокольники

Ракета пролетает по орбите
И пулею могу ее убити.

Вокруг сидят, похожие на латы,
Раскрашенные филины крылаты.
И разный зверь идет на водопой.
А главная мишень певица,
Не человек и не девица,
Ничто с огромной головой,

И лампочки в очах немыслимого блеска.
И выстрелы в ушах немыслимого треска.

Потом я подстрелила сильный
Театрик розовый и синий,
Он электричеством просвечен
При попадании в него,
Как человечье естество.
Еще теперь очеловечен
Медведь с братком у наковальни.
... Всех этих мы атаковали.

Теперь скажи, что как положено
Мы до Сокольников доехали
И ели там одно морожено
С двойным вареньем и орехами,
Что не вишу в зеленой будочке
В своей недальновидной юбочке,
В своих наручных украшеньях
Большой мишенью во мишенях —
Вишу, готовая пропасть.

А больше некуда попасть.

Мария Степанова (1972)

* * *

Есть времени наружный ход
Его натужная забота
вот, тихое, оно идет —
и как младенец тащит в рот
забывшего о нем кого-то
оно готовит нам очки
и гроб хрустальный на цепочке
оно играет в поддавки
оно затычка в каждой бочке
оно словарь оно букварь
забота вытачка кавычка
декабрь январь опять январь
и в форточке чужая птичка
оно свергается дождем

на ошалевшую обиду
и несть в нем запаха и вида
но мы его как воду ждем

Евгения Вежлян (1973)

* * *

Я тебе привезу из Голландии Lego,
мы возьмем и построим из Lego дворец.
Можно годы вернуть, возвратить человека
и любовь, да чего там, еще не конец.
Я ушел навсегда, но вернусь, однозначно, —
мы поедем с тобой к золотым берегам.
Или снимем на лето обычную дачу,
там посмотрим, прикинем по нашим деньгам.
Станем жить и лениться до самого снега.
Ну а если не выйдет у нас ничего —
я пришлю тебе, сын, из Голландии Lego,
ты возьмешь и построишь дворец из него.

Борис Рыжий (1974—2001)

* * *

Темнеет рано. Осень словно вор.
Во тьме играют дети возле школы.
Роняет парк свой головной убор —[160]
вот он и голый.

[160] В стихотворении Пушкина «19 октября»: «Роняет лес багряный свой убор».

И плоский Балэм, сколько видит глаз,
заледенел в огнях горизонтально,
но я в колонке зажигаю газ,
и всё нормально.

И утром в пеших облаках висит
(мир не прекрасен, но небезнадежен)
такой простой, наивный реквизит,
что Он — возможен.

Олег Дозморов (1974)

* * *

стало холодно совсем зябко
не люблю октябрь непогоду
говорила так моя бабка
причитала только б не в воду

не погост у нас а болото
торфяная дождь пройдет жижа
только бы не в воду не в воду
на пригорке там посуше повыше

всё бессвязней говорила всё глуше
на пригорке там повыше посуше
он зеленым станет ранней весною
там сосна еще стоит — под сосною

Александр Переверзин (1974)

Станция Белый кит[161]

Всё засыпано пеплом, будто теперь зима
или закончил сжигать письма, черновики
отношения с миром выяснены, не сходи с ума
лучше купи билет до станции Белый кит

Говорят, где-то такая есть, где-то на запасных
говорят, электрички и дети знают туда маршрут
вот, и езжай, пока не поймешь, что ты уже тут
поймешь до последнего знака после любых запятых

Ставишь точку и смотришь, как утекает за лес вагон
и туда как с горки, скатываются облака
комната, пепел в пепельнице, догоревший сон
и прямоугольник билета с открытой датой в руках

12 апреля 2017

Андрей Мансветов (1975)

* * *

Через час душа откладывает карандаш и просит воды,
просит тело зажечь торшер, чтобы ей не мыкаться в темноте,
просит дать поспать, но не спит, смотрит на взвесь в воде,

[161] См. роман «Моби Дик, или Белый кит» Германа Мелвилла. В центре сюжета — одержимая охота одноногого капитана Ахава на гигантского белого кашалота по имени Моби Дик, который когда-то покалечил его.

на себя в кольце подступающей темноты.

Через два часа душа заканчивает перечислять имена,
говорит: «Ну-ну»,
просит тело открыть окно,
тело шепчет: «Но...»,
но душа не слышит, — встает, кладет карандаш,
надевает ботинки и патронташ
и идет к столу. Ей уготован ужин.
Тело молча стоит над ней, пока она умывает руки,
собирает в папку листки, забывает знаки,
символы, карандаш, торшер, сыновей и жен.

Через три часа душа допивает кровь, заедает телом,
надевает пальто и идет к порожку,
где они, наконец, расстаются с телом
и неловко присаживаются
на дорожку.

Тело всё сидит, а она уже у калитки, в самом конце дорожки.

Линор Горалик (1975)

* * *

что я могу против «нет»?
разве что придумать ему нелепый синоним

как тебе, например, «всё»?
по-моему, очень

ведь когда говорят «сойдет на нет»
это как, например, лето сойдет на осень
осень — на снег, а снег —

на всех

Кира Фрегер (1975)

Отражение

Мы отражались в пианино, в чужой квартире,
И ты сказал мне, засмеявшись: — Смотри, смотри,
Как удивленно и смиренно лежат четыре
Неярких тела: два снаружи, а два внутри.

Я повернулась к отраженью, привстав на локте,
Свое неловкое движенье на два деля,
А в пианино... Обгорелый античный портик
Окрасил памятью пожара двоих дела.

Откинув голову, смеялся, забыв причину.[162]
Твой смех подпрыгивал, как мячик, среди теней.
И я, обняв тебя, смотрела, как мы в пучину
Уходим. И чем дальше, глубже, тем лак темней.

Полина Барскова (1976)

The Ballad

[162] Ср. с поговоркой: «Смех без причины — признак дурачины».

посв. Кате К.

по краю лужицы голубь бежал
когда мы стояли у лавки
купили мы розу купили бокал
купили зонтик на палке

потом мы были на пустыре
у дома где крыша из толя
и было тихо как в монастыре
как в нашей безлюдной школе

едва ли кто-то из нас сказал
то у него получилось
как пройти на ЖД вокзал
и солнце садилось

и мы тогда тоже за дом зашли
а в дом заходить не стали
а там за домом клумбы росли
грядки грядки с цветами

а в нашей школе тогда был спортзал
в него пять мышей забилось
а наш физрук всё время икал
и склонность одна развилась

у нашего с тобой физрука
или это только казалось
что наш физрук всё время икал

или таскал нас за волосы

и мы тогда тоже за школу зашли
а в дом заходить не стали
а в нашем доме свечи зажгли
совсем как огни в спортзале

а возле церкви тогда был сад
и в нем посадили сирени
и эту сирень посадили подряд
и нам не хватало зренья

тогда посмотреть на церковь сквозь сквер
как будто на свет под дверью
и нам казалось что прятался зверь
и бегал в тени деревьев

ну а за церковью был овраг
ты нас поменяй местами
но и тогда за церковью был овраг
в овраге окна с крестами

они отражались когда свет в домах
по вечерам зажигали
а люди все жили в годах в годах
а может быть только спали

ведь только спали потому что днем
уходили они на работу
а воскресенье был выходной

и выходной в субботу

и в выходные пели они
и про косу под пилоткой
а пели они в выходные дни
и про косу и про лодку

а то среди них было голос пел
по горам по долам нынче здесь завтра там
по небу полуночи ангел летел
наследник из царского дома сбежал

а за оврагом была гора
где петел крикнул ура!
бывало где пил я вино из горла
а ты где цветочки рвала

мы жили в городе хрустальный гусь
в одну хрустальную ночь
зимой гора бывала в снегу
а летом была в пуху

наверное всё было видно с горы
всё видно с горы точь-в-точь
все школы и церкви и все скверы
как отошедшие прочь

а пенья не слышно по выходным
которое снизу шло
не видно огня а только дым

и солнце когда зашло

зато очень слышно в самом низу
о чем говорят на горе
как слово сказанное в лесу
как слово с крыши во всем дворе

поэтому скоро весь город знал
что с нами случилось
я спросил где ЖД вокзал
и солнце садилось

а мы не знали что в дом не зашли
хотя всё время поем
но ты мне рот землею зажми
когда нам будет страшно вдвоем

наверное в городе знают слова
которые повторяет один голова:

«потерянный пес не ответит на зов,
он не вернется из дальних лесов».

Виктор Іванів (1977—2015)

* * *

— Я купил молоко молоко молоко
— Ты купил три молока?
— Я купил молоко

Облако высоко
Высоко облака

Вдохнуть это и не дышать
Смотреть на выпавший снег
Таяющую, мать ее, благодать

Вот идет человек
Оставляя тающие следы

Помню, эти следы
Оставлял на зыбком снегу, уходя, отец
Обратившись затем в телефонный голос
А затем — в бесконечный слух

Не прошло и жизни — вот и встретились мы, наконец
Отец, сын, снежный святой дух

2025

Андрей Гришаев (1978)

* * *

Вот, предположим, забулдыга:
Его лицо в тонах индиго
Сияет радужным огнем,
И смерть читается на нем.
А у тебя сквозь ткань рубахи —

Лишь многочисленные страхи.

Павел Гольдин (1978)

* * *

так внутрь глины целой, надавливая слегка,
гончар опускает сведенные пальцы, пока
не образует вмятину, а после разводит, пока
пустота внутри не достигнет размера задуманного горшка.

так нога мерно и мерно снует вперед и назад,
а затем взлетает, потому что скорость и так велика.

так сжимает горлышко, чтобы стало у́же,
и острый нож прижимает к ножке, чтобы стала ровней,
так смачивает ладонь водой и оглаживает снаружи,
а после сушит, подрезав донце струной.

а после, боже мой, что после станет со мной —
могла бы подумать, если могла бы думать,
чашка, ожидающая свой страшный суд,
потому что ее поставят в печь и на ночь запрут,
и двести, триста, четыреста градусов выставят на табло,
вплоть до градуса, при котором плавится стекло,
до градуса, при котором плоть превращается в прах.

ты ведь прахом была, и больше, чем прахом, тебе не быть,
сказал бы чашке гончар, если бы мог говорить.

Марианна Гейде (1980)

Скобки

Я начал замечать: мой добрый друг
становится печальней и прозрачней.
Просвечивают шляпа и сюртук,
и как бы автор ни был близорук,
а в легких ясно виден дым табачный.

Не прячет воровато друг лица:
сквозь стенки черепной его коробки
я наблюдаю ветку и птенца,
рекламный щит, прилавок, продавца;
я мысленно беру всё это в скобки.

Он тихо-тихо таял с детских лет,
но — оболочкой, а не сердцевиной.
Пустяк — исчезли кожа и скелет,
не в этом суть. Мучительный секрет,
загадка в том, что сердце, сердце видно!

А я, напротив, становлюсь плотней —
булыжник в череде других камней.

Евгений Никитин (1981)

* * *

она ругается стуча крича

что ей в замке не повернуть ключа
что он опять закрыл на два замка
и спит напившись коньяка

а он повернутый на два замка
на кухонном полу лежит без языка
разбитый но еще не испустивший дух
и вместо тела получает слух

он слышит как ругается сосед
с супругой из-за утренних газет
как спорит пешеход испуганный слегка
с водителем грузовика

не могут поделить ни кресел ни ковра
родные возле смертного одра
и ожидая утренних ракет
соседи спорят из-за утренних газет

он сказочного вспомнил комара
и понимает что пора
и плитки пола кажутся ему
похожими не на тюрьму

а на альпийский луг чудесный кров
свободных и счастливых комаров

Влада Баронец (1981)

* * *

Поднимаешь к солнцу ладонь
разглядеть, понять на просвет
вещество под кожей руки
и назвать его, и назвать.

Но язык не помнит имен —
если слово есть, то — в глазах:
ну а им — удерживать свет,
собирать по капле тепло.

Так отец тебя поднимал
невесомо, словно ладонь:
он искал слова, чтоб назвать
розовевшее вещество.

Но язык не помнит имен —
если слово есть, то — в глазах:
но они — безмолвны от слез,
отвечавших дрожью на свет.

Алексей Порвин (1982)

* * *

в старом дыме жили и росли

тихо родители жгли себя —
светло ровно

нужен новый дым
а мы не горим

Вася Бородин (1982—2021)